

ЕЛЕНА КРЮКОВА
КРАСНАЯ ЛУНА



Елена Крюкова

Красная Луна

«Автор»

2002

Крюкова Е. Н.

Красная Луна / Е. Н. Крюкова — «Автор», 2002

Ультраправое движение на планете – не только русский экстрим. Но в России оно может принять непредсказуемые формы. Перед нами жесткая и ярко-жестокая фантазмагория, где бритые парни-скинхеды и богатые олигархи, новые мафиози и попы-расстриги, политические вожди и светские кокетки – персонажи огромной фрески, имя которой – ВРЕМЯ. Три брата, рожденные когда-то в советском концлагере, вырастают порознь: магнат Ефим, ультраправый Игорь (Ингвар Хайдер) и урод, «Гуинплен нашего времени» Чек. Суждена ли братьям встреча? Узнают ли они друг друга когда-нибудь? Суровый быт скинхедов в Подвале контрастирует с изысканным миром богачей, занимающихся сумасшедшим криминалом. Скинхеда Архипа Косова хватают на рынке во время стычки с торговцами и заталкивают в спецбольницу. Главный врач, Ангелина Сытина, делает его своим подопытным кроликом – и вкручивается в орбиту, очерченную свастикой и кельтским крестом... Жестокость рождает смерть. Может быть, смерть – пространство новой любви для тех, у кого выхода нет?

© Крюкова Е. Н., 2002

© Автор, 2002

Содержание

АНГЕЛИНА	5
КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ. НОРД	7
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Елена Крюкова

Красная Луна

Моим детям

АНГЕЛИНА

Тишина. Мои руки подняты вверх. Десять пальцев растопырены. Они горят. Плают – десять свечей. Десять языков огня.

Отойди от меня! Ты, кого я отвергла!

И ты, кого я ненавижу.

И ты, кого я люблю.

Подойди ко мне ты, в кого я верю.

Ты – мое зеркало. Ты – моя ставка. Я ставлю тебя на кон – и выиграю жизнь. Жизнь-то у человека одна. Ты веришь в то, что будет за гробом?! Я – нет. Может быть, я несчастна, и счастлив тот, кто верит в вечную жизнь?!

Я счастлива. Моя кровь слишком горяча. Мои глаза слишком длинные, руки слишком влажны и подвижны. Я беру, осезаю, краду, наслаждаюсь, вонзаю зубы, раздуваю ноздри. У жизни слишком животная природа, чтобы века напролет разглагольствовать о душе.

Слишком пахнет грозой в душном и грязном воздухе. Слишком напрягся мир – мышца жаждет, чтобы в нее всадили пулю, вонзили нож. Живая кровь – вот чего не хватает миру, захлебнувшемуся в клюквенном соке. Созерцание фальшивой крови порождает неистовую жажду настоящей. Я слишком настоящая, слишком живая, слишком пламенная, чтобы врать самой себе. У меня румяные щеки, длинные глаза, потные подмышки, они зверино пахнут, я моюсь под холодным душем, чтобы смыть запах зверя, запах жизни, хожу в сауну, прыгаю зимой в прорубь, душусь изысканными духами, обливаюсь с ног до головы парфюмами и мажусь дезодорантами, и все равно запах жизни так силен, что мужчины чувствуют его на расстоянии – они ощущают его не обонянием, а сущностью. Сущность – вот что жжет и пылает. Наша жадная сущность неистребима.

И те, кто обладает сущностью, должны истребить тех, в ком ее нет, кто пуст, как выпитая бутылка. Выпитые бутылки выбрасывают на помойку, не правда ли?! Может быть, это вы их сдаете в прием стеклопосуды?!

Ты, в кого я так истово верю, – подойди ближе, не бойся. Женщина не кусается. Женщина обнимает и вбирает, ты тонешь в ней. Она выпивает тебя до дна – ты слишком крепкая водка, чтобы смаковать тебя, долго держать во рту.

У тебя широкие скулы. У тебя тяжелый железный подбородок. У тебя раскосые светлые глаза. Ты умный, ты властный и жестокий, может быть, ты хитрый, и это хорошо. У тебя гладкая кожа, ты раздуваешь ноздри, ты отлично знаешь, чего хочешь. Тебе кажется – ты хочешь того, чего хотят все. Тебе кажется: ты чувствуешь то, что чувствуют все.

А может, ты ошибаешься?!

Я кладу руки на твои плечи. Ты чувствуешь мои губы? Мой живот? Ты чувствуешь мои мысли? Неужели ты читаешь их, ты, неграмотный, грубый, слепой, черствый? Ты чувствуешь мою душу? А разве у меня есть душа? Думаешь, я беременна душой? Я давно ее родила. И она живет отдельно от меня. Я гляжу тебе в глаза. Ты – это не я, но ты становишься мною. Я выпью тебя и закушу тобой – за твою победу. За то, чтобы ты победил и вознесся.

Счастье женщины – в том, чтобы победил сильнейший?!

Что же ты будешь делать потом, после победы?

Торжествовать?!
Торжествовать буду я.
Потому что это будет МОЯ ПОБЕДА.

И пусть потом я... пусть потом я буду...

Пусть потом я заплачу, брошу голову на руки... выгнусь в судороге отчаянного крика!.. искусаю в кровь губы... пусть потом, позже я прокляну себя... захохочу над собой, как сумасшедшая... пусть потом я умру, умру... пойму, что все, что я делала, – гроша ломаного не стоит... пусть потом я пойду по миру, продам себя за копейку, разломлю на куски и разбросаю, как черствые корки, голодным зимним птицам... это все потом!.. потом, потом... а сейчас я сильная, как ты. Я жестокая – как ты. Я холодная и властная – как ты. В нашем мире кто не силен – тот проиграл. А я не хочу проиграть. Я хочу выиграть. Выиграть – что?!

Нет, я не плачу... Ха-ха!.. Я – смеюсь. Я смеюсь над собой. Я слишком высокого роста, чтобы плакать над смертью муравья. И мне не нужно косметики, я и так чересчур ярка. Я сверкаю так, что меня видно издали.

Я помогу тебе взять власть. И ты будешь держать ее крепко. Сжимать обеими руками. Пока не задушишь.

Ты знаешь, человек за все, за все на свете платит очень дорого. Даже если он платит копейку. Копейка, выпачканная в крови, обскочет по цене египетский изумруд. Плати за меня живыми изумрудами. Плати за меня бешеными деньгами. Плати за меня властью. Просроченный товар – гнилой товар. Я твой товар и твой купец. Плати за меня – жизнью.

Он стоял перед ней на коленях, уткнув голову ей в живот. Она была нага. Штор на окне не было. На крестовине рамы была распята черно-звездная, сизая от инея зимняя ночь. Она когтила пальцами, как громадная птица, его голову, больно впивалась в волосы, ласкала лицо. Он закинул шею. Глядел на нее. «Ты сделала все, чтобы я...» Она положила ладонь ему на горячие губы. Он тоже был голый, как и она, и от его тела шел жар, как от костра.

Я ВЕДУ ТЕБЯ ВЫШЕ. ВСЕ ВЫШЕ. ЭТА ЗЕМЛЯ УЖЕ ТВОЯ. ПОЧТИ ТВОЯ. ЕЩЕ НЕМНОГО. ЕЩЕ НАПРЯЧЬСЯ. ЕЩЕ ВНУШИТЬ. ЕЩЕ ПРОЛИТЬ КРОВИ. ЕЩЕ...

Он приблизил губы к развилке ее ног. Коснулся ртом красной соленой раковины. Она выстонала: «Еще...» Над ее головой, над ее мрачно-красным атласным телом, над темно-красными, цвета погибшего заката, космами, разбросанными по тускло блестящим плечам, по ледяно-голой спине, между перекладинами оконной крестовины всходила красным нимбом, закрывая белый мир, огромная красная Луна.

КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ. НОРД

*«Группа крови на рукаве,
твой порядковый номер на рукаве...»*

Виктор Цой

- А-а-а-а-а!.. А-а-а-а-а!.. Держи его!.. Держи его!..
- Он же его насмерть забил, насмерть...
- Держи его, братцы, уйдет!.. Убег уже!..

Темь. Свалка. Гогот. Дикий крик. Неистово, сладко-погибельно, оглушительно матерятся те, кто вытягивает шеи, наблюдает издали; задние наседают; толпа давится и давит, напирает, бежит, ужасает сама себя, водоворот злобы охватывает всех, захлестывает волной, – на вечернем рынке, разлегшимся фруктово-мясным, тряпочно-сальным мертвым китом посреди Москвы, бритые подростки в черных рубахах и черных кожаных куртках, размахивая тяжелыми железными цепями, жестоко пиная в бока, в ребра поверженным огромными черными башмаками «Camelot», бьют чернокудрявых, крючконосых, смуглявых южных торговцев. Продавцов с Кавказа. Из Туркмении. С Каспия. С Сыр-Дарьи. И китайцев тоже бьют, и корейцев – всех раскосых; всех, кто смугл и широкоскул; у кого глаза и брови чернее ночи; всех – нерусских.

Насмерть бьют.

- Эй, вы!.. С-с-суки... Вы, гады!.. вы... ответите...
 - А-а, а-а, а-а, а-а... парни, он мне башку цепью прошиб!.. Найдите... отомстите... и матери... матери передайте...
 - Все, сдох, ты, чурка?!..
 - Бежим, кореша!.. Щас сюда сявок с автоматами нагонят!..
- Толпа катит. Толпа рычит. Из толпы, как молнии, вылетают ослепительные крики.
Вал катится – вал не остановить.

Лица. Во тьме – лица. Они тоже режут тьму огнями. Клубок лиц и тел то сматывается, то разматывается. И мрак прошивает длинная прерывистая лента огня. Трассирующие пули. Разрешено применять оружие?! Стреляют!

В них стреляли – а они били. Кастетами. Цепями. Камнями. Ботинками. Ножей у них в руках не было, и вдруг кто-то пронзительно завопил в толпе:

- Ножи! Гля, ребя, у них же ножи! Разбегайся!
- А сзади стреляли, стреляли, стреляли и надсадно орали:
- Ложись! Ложись, мать-перемать!.. Стоя-а-а-ать!..

И толпа повалилась на землю, рассыпалась на черные людские комки, покотившиеся в разные стороны, а сторон не было, потому что вокруг были прилавки, и люди лезли на прилавки и ящики, на деревянные лари и картонные коробки, падали грудью на железные скобы, взбирались на крыши фургонов, залезали под навесы, – а сзади все стреляли, и те, кто бил, те, в черных куртках, протискивались, с обнаженно-озверелыми, бледно-беззащитными лицами сквозь клубящуюся толпу: убежать!.. удрать!.. не дать в руки!.. уйти во что бы то ни стало!.. – и не могли уйти: падали под выстрелами, их ловили, они отбивались, как отбивается зверь, попавший в капкан, – шла охота на тех, кто вздумал убивать, и те, кто был оголтелым охотником, сам стал добычей.

- Пашка!.. Па-а-ашка!.. Сюда!.. Голову прячь!..
- На землю!.. Уполза-а-ай!..

Они ползли, как ползут на брюхе побитые собаки, по мерзлому, заледенелому, посыпанному грязной солью снега асфальту. Люди в пятнистых куртках, с автоматами наперевес, настигали мальчишек в черных кожанках и черных массивных, как утюги, сапогах со шнуровкой. Мальчишки швыряли прочь велосипедные цепи. Визжали, как щенки. Вжимали головы в плечи.

Лысые головы. Бритые головы.

Мальчишки с гладкими, как яйцо, бритыми налысо головами тщетно пытались убежать с зимнего ночного Черкизовского рынка. Их настигали. Их ловили.

Их ловили, чтобы они больше никогда...

– Архип!.. Архипка!.. Что ж ты, мать твою, а...

– Гниды!.. Я все равно...

Его толкнули в спину. Повалили на снег. Заломили руки за спину. Защелкнули наручники. Какие же, мать их, наручники холодные. Как лед.

Он лежал животом, лицом вниз на твердом, как лист железа, ледяном асфальте, покрытом коркой драгоценно, опалово блестящего черного льда, и ощущал щекой черный холод лютой земли. Кто такая земля была ему? Он на земле был один. Он был сирота. У него не было никого. Уже – никого – на земле – не было. Время, смерть, одиночество. Одиночество в семнадцать лет – оскал улыбки, в зубах – сигарета. Одиночество в двадцать с хвостом – это уже жестокий принцип жизни. И черта ли, господя, в этой жизни. Жизни просто нет, господя. Есть – след военного сапога на снегу. Наступи сапогом на морду ниггера и чурки. Отпечатай на его роже свою подошву. Посвети его отлетающей душонке в кромешной тьме своей яркой лампочкой – лысой головой.

– Ты убил! Ты убил, сука! Ты убил троих! Тех, что вон там валяются! У тех ларьков!

– Я?! Я?!

– А что, хочешь сказать, что не ты?!

– Нас тут много! И мы вам еще покажем! Всем покажем! Бей черных! Бей ниггеров! Бей косых! Бей жидей! Бей всех, кто бьет нас! Спасай Рос...

– Кого, кого «спасай», козьявка?!.. По ушам не хочешь?! А по зубам?! Н-на! Н-на! Н-на еще! Еще зайкнись!.. В машину его!..

Когда его заталкивали в черное, тесное, душное пространство приземистой железной повозки, он почувствовал, что по его лодыжке течет липкое, горячее. Запоздалая боль в икре резанула, прошла его. Подстрелили. Они все-таки его подстрелили. Его везут в тюрьму. В тюрьму, куда же еще.

Его привезли туда, где он ни разу в жизни не был. Казенные стены, разбитые плафоны под потолком. Пахло хлоркой, тараканьим мором. Запах пустоты. Запах ужаса. Его втолкнули в тесную каморку. Он поднял глаза и увидел перед собой частые стальные соты решетки. Вошли люди. Он понял – они будут его бить.

И его били.

Били долго.

Он сжимал зубы. Он, защищая живот и пах руками, катался по полу. Когда-нибудь он все-таки должен был потерять сознание.

Он так и застыл недвижимо – в позе младенца в утробе матери, в черных, густо намазанных черным обувным кремом, роскошных модных зимних ботинках английской фирмы «Camelot», в перепачканной кровью тельняшке, – черную кожаную куртку с него скинули, пнули под лавку, – с пятнами и потеками крови на бычьей-упрямой, бритой беззащитной голове.

... ..

ПРОВАЛ

А-а, а-а, а-а. А-а, а-а, а-а.

Моя денежка... моя денежка.

Моя красная, моя медная денежка. А-а, какая же ты красивая! А и что я могу на тебя купить?.. А и звезду с неба могу я на тебя купить, только та алмазная звезда мне, царь-государь, не нужна. Не нужна – и весь сказ!

Брожу босой, снег режет ноги косой. А и под щиколотки мороз скосит – меня не спросит! Стой, ты! Хочешь, правду скажу?.. Не бойся правды. Правда – это Око мира. Око зрит, да не моргает, все про нас знает. А правда – она всегда одна. Одна, как крест на груди! Нашего царя скинут, скинут, из России душу вынут!.. и по миру пустят гулять, побираться, сидеть у иноземных храмов с протянутой рукой... Тот, кто жиреет, – пище зажиреет! Тот, кто тощей, – станет совсем нищей! О-ох, о-ох, о-ох... Будет война. Старухи хлеб сушат, бездомные в отбросах копаются, галки да вороны над золотыми да над красными куполами кружатся – значит, будет война!

И война, добрый человек, будет стра-а-ашиная, стра-а-ашиная... ибо врежется одна железная птица в град-камень, другая железная птица – в град обреченный, а третья... третья...

Наш народ ни хлебом не корми, ни медом не корми. Наш народ – Духом Святым корми!.. – а он-то и Дух Святой не проглотит. Не хочет благодать жрать, хочет лютым голодом мориться. Эх, голову закину – а надо мной – купола! Вон их, девять куполов-то, храма Покрова... площадь Красная, прекрасная... На дынном куполе – красотка сидит, о любви говорит. Ты не слушай ее. Все врет она, хоть маслом ее залей, хоть в вине искупай, хоть водки в глотку плесни.

На лимонно-золотом куполе – черная ворона сидит, о смерти говорит. Накаркает, берегись!.. такая наша жись... А и ты не слушай ее: дура птица, одно слово, дура! И о смерти птица ничегошеньки не знает, ибо ее могила – синее небо!

На полосатом, как татарский халат, куполе – царь-рыба сидит, крючок в губе ее торчит, отпустит молит. И ты, и ты все живое – не мучь! Отпусти!

На сапфирово-синем куполе – старуха сидит, о хлебе говорит. Мало, мол, хлеба будут печь! Много, мол, железа да пух в плавильнях испекут! А ты и ее не слушай, ей времячко душу вычернило, она войну уж видала, и с тех пор ей все пули снятся, а хлеба свеженького рот просит, шамкает.

На травянисто-зеленом куполе ребенок малый сидит, невнятицу говорит: ля-ля да мя-мя, зачем в мир родили меня?! А и кто тебя рождаться просил – уж больно сам о том голосил! Не слушай детей – ты, родитель, не нужен им! Им твои монетки нужны, твои хоромы нужны, твои горячие блины нужны! А сам ты им не нужен, и душа твоя не нужна!

На голубом, с золотыми звездами, куполе мужик бородатый сидит, звезду молотком приколачивает: эх, раз, еще раз! Гвоздь в сусальное золото засажу – на дело рук своих погляжу! Хвалит себя мужик, мастера-плотника, да ты не слушай его: хвальба ни в каком деле, ни в малом ни в большом, не нужна!

На черном, с серебряными звездами, куполе – батюшка в рясе сидит, борода по ветру летит, сам лик в ладоши уронил да плачет: о чем, о чем вам поведать, православные?!.. Брехать не хочу, а правда – не по плечу!.. Не слушай его: одним глазом он плачет, другим смеется,

шепчет потихоньку: а все равно я апостольский наследник, а вы, вы-то все – кто?!.. О-глашен-ны-и-и-и!..

На снежно-белом куполе монахиня в черном сидит – о боли грешным нам кричит: больно, больно!.. Душа горит!.. Не слушай ее: ее на телеге везут да в яму сбросят, голодом уморят, потом – святой сотворят, в церкви на стене намаляют, и ради славы грядущей она всю боль готова претерпеть, какая есть на земле!..

А на последнем, девятом, кроваво-красном, куполе – лысый отрок верхом сидит, и ничего, ни слова не говорит, молчит! Молчит страшно! Молчит яростно! Молчит – как огонь горит! Молчит – как пожар идет! Молчит – как кнутом грешников бьет! А вы все, вы, внизу, что головы закинули?!.. Бритый, будто в тюрьму его ведут... будто голову рубить будут... простой, обычный мальчонка, щенок, гриб мухомор, может, солдат беглый аль вор!.. а вы, вы что смотрите на него, как на Бога?!.. Купол-то он обнял, ногами обцепил, руками обхватил, как девку, как теплую бабу, а снег с небес валит, а вы все, внизу, кричите кто что: «Бог!.. Дьявол!.. Несмышлениш!.. Преступник!.. Кат!.. Негодяй!.. Святой!.. Распят!.. Короновать!..» Ах ты, мать-перемать...

Вот его – слушай. Его молчание – впивай. Его тишине – внимай.

Тишина – священнейшее из того, что человек слышит.

Звон. Звон в тишине. Железная птица когтями в каменную свечу вопьется. Вижу. Пророчу. Так будет.

Когда вопьется – мир накренится, будто карбас рыбачий.

Не жалея меня, что босиком брожу; босыми ступнями – по сердцам наслежу! А ты, ты, ежели крест не носишь, так вериги носи, себя железными цепями всего обвяжи, ибо День Судный грядет, и...

... Черт, черт. Вынырнул. А думал – не вынырну. Это мое время – или чье?! Это... я?!.. или кто... Эй, не бейте меня!.. Не бейте!.. Нельзя больше бить... Кости... переломаете... я все равно... ничего... вам... не...

Они отступились. Не били его больше. Так, походя, пинали под ребра, как собаку. Шмон навели: всего обшарили, унижительно, везде щупали. Щупают-то щупают, а за ушами не догадываются почесать. Пластырь не срывают. Думают – пластырем заклеена царапина, рана. Или опасная болячка какая. Брезгуют. Ух ты, гады, нет, лапы все-таки за ухо суют!

– Эй, грабли прочь... это рана там у меня, царапка, не трожьте!.. Мазь там наложена... вонючая...

Убрали клешни. Откатились.

Катитесь колбаской. Вы так отделали меня классно. Спасибо, что не замочили.

– Как звать тебя?!.. Эй, ты! Имя! Как зовут!

– Понятно, паспорта нету при себе...

– Какой, к черту, паспорт, когда заведомо, мокрицы, на убийство шли... Все заранее обсудили сто раз... Кто у них вождь, интересно?!.. Отловить бы его...

– Имя! Твое имя! Кто вас подстрекал?! Кто вас научил?! Кто у вас главный?! Кто?!

– Как зовут тебя! Имя!

Имя. Имя твое. Как это просто – имя.

А если у меня нет имени?

Да, если у меня нет имени?

Я – пророк. У меня нет имени.

Я – пророк, и я вижу будущее. Я вижу прошлое. Я вижу, что вы не видите. Я иду босиком по снегу. Поджимаю, скрючиваю пальцы. Обжигаю льдом ступни.

Я иду по русскому снегу. Я пророчу. Я вижу настоящее. А вы – не видите – его.

Я вижу: настанет день, и поднимется народ, и черные толпы хлынут по белому снегу на красные дворцы, и камень сметется живыми телами, и полетят по небу железные птицы, и железные груши упадут с небес и убьют всех, кого надо, и Великая Рос...

– Заткните ему рот! Орет, будто наркоты накачался!

– Откуда?! Откуда у него наркота?!

– Ведро холодной воды принеси, Серега! Облей его! Пусть очухается! Г-гад...

Они не знают: мое тайное зелье у меня за ухом. Счастье моих видений заклеено грязным пластырем.

... ..

Он любил смотреть на Москву с высоты птичьего полета. С высоты бреющего полета самолета.

Ему казалось – он всегда летел над городом. Над землей. Над миром. Над драгоценностями и грязью. Над нищетой и лоском. Он одинаково презрительно улыбался и над россыпями алмазов, и над кучками дерьма. Он всегда был в полете, на крыле самолета, на белом коне, и конь его судьбы и удачи нес его над всем тем, что служило ему и что мешало ему – к тому, что услаждало его и вливало в него силы. «Я Ефим Елагин, – шептал он себе, щурясь, закуривая, с наслаждением затягиваясь. – Второго такого Ефима Елагина в мире нет».

Второго такого Ефима Елагина действительно в мире не было.

Он сам не считал своих капиталов. Он щупал рукой гладко выбритый, слегка раздвоенный, как копыто, подбородок: черт его знает, сколько у меня денег на счетах! Его снедало действие. Он делал. Он все время делал дело. ДЕЛО – вот было ключевое слово всей его жизни. Всей его недолгой, еще такой молодой жизни.

Он слишком остро чувствовал время. И, изгибая красивые, похожие на монгольский лук, холеные губы – женщины так часто засматривались на его губы, им так хотелось, он видел это, поцеловать этот чувственный манящий рот, этот властно выставленный вперед, военно-легионерский, офицерский подбородок, – он смеялся над временем, он презирал его, потому что знал: время изменилось. Время слишком, страшно изменилось. Оно содрало с себя красную маску, отбросило прочь личину порядка и закона; эпохи содвинулись, друг на друга наложилось, как обглоданные куриные кости, блестящие ослепительными громадными люстрами и ювелирными витринами дни и горькие, нищие ночи, люди растерялись, люди не знали, куда им идти, бежать, что делать, за что хвататься, как зарабатывать деньги, не изменяя себе и не калеча душу свою; и многие в этом Другом Времени изменили себе, искалечили себя, предали себя, стали не тем, чем их явил на свет Бог; а вот Ефим Елагин – о, Ефим Елагин себе не изменил, нет! Он раскрыл изменившемуся времени объятья. Он плыл в другой эпохе, как рыба в воде. Он блаженствовал в ставшем совсем ином мире, как блаженствует распаренный в сауне. Он был рожден, чтобы плавать и кувыряться в деньгах, чтобы стать богатым, чтобы – преуспевать.

Он был рожден в богатой семье – и стал богатым, покотившись на богатых серебряных коньках по накатанной дорожке. И набрал скорость. И опередил многих своих соперников. И, хоть не вышел еще на финишную прямую – до финишной прямой было еще далеко, – он уже оглядывался на тех раззяв, что остались далеко позади, за его мускулистой, загоревшей на пляжах Ривьеры, Ниццы, Кипра, Канар и Майорки, широкоплечей красивой спиной.

За спиной самца – дельца – упрямого козерога.

Он был по знаку Зодиака Козерог, и часто сам себе, когда смотрел в зеркало, когда плыл по слепящей солнечными бликами водной дорожке бассейна, когда обнимал в постели женщину и толкал ее, бодал, пронзал собою, как огромным рогом, когда, наклонив бычье-упрямую, по моде коротко стриженную голову, спорил с конкурентами и выигрывал спор, – казался живым козерогом, тельцом, быком, идущим напролом, выставив рога и возбужденно взмахи-

вая хвостом; Козерог, говорил он себе, я же Козерог, я прободаю любую стену, а меня – меня никакая Европа не оседляет.

Он отошел от окна. Из окна его роскошного, по последней мировой моде отделанного и обставленного жилища – элитной квартиры на Коровьем валу, пять тысяч долларов квадратный метр – была видна разноголосая чересполосица московских крыш и слепяще-золотые, начищенные к Рождеству купола храма Христа Спасителя. Он взял в руки массивную хрустальную пепельницу, повертел. Солнечные блики заиграли на его гладком, с широкими, торчащими, как два кургана над степью, скулами, выхоленном лице. Такое лицо могло быть у крестоносца. У голливудского актера. У нефтяного короля. У звезды бокса. Такое лицо могло быть у принца Английского, у князя Монакского. Князь Монакский! Он усмехнулся. Глядел на себя в зеркало напротив. Огромное зеркало венецианского стекла на стене, как огромный холст, золоченая толстая рама, и в ней – его портрет. У него и портреты свои были – он заказывал их лучшим, модным московским художникам: Витасу Сафонову, Андрею Белле, Владимиру Фуфачеву, Наталье Нестеровой. Ивану Шипову он портреты не заказывал и живопись у него не покупал – он считал Шипова деревенским мазилкой. Зеркало вбирало в себя его лицо, выпускало обратно, на волю. Он сузил глаза и стал похож на лучника Чингисхана, трясущегося на коротконогой монгольской лошаденке, с колчаном за плечами, с коротким тяжелым мечом на боку.

ПРОВАЛ

Алая Луна. Кровавая Луна. Луна цвета крови. Она стоит в окне, как круглый красный колодец, и туда невозможно заглянуть.

Красная Луна вызывает отчаянные приливы в земных морях и океанах. Океан надвигается на сушу, вздымаются цунами, вскипают темные воды, клубится туман над Оком Тайфуна. Клубится красный туман, и сквозь туман просвечивает красный страшный лик. Вода принимает людское обличье. Вода глядит на Луну искаженным лицом. И Луна отражается в ней, как огромный красный звериный глаз.

По алому кругу Луны медленно плывут, летят черные тени птиц. У птиц широкие крылья, птицы медленно взмахивают ими, подбирая длинные ноги под брюхо. Черные птицы летят мимо красной Луны за Океан.

Не уходи от окна, стой перед окном, гляди. Гляди до конца. Слушай: это я пророчествую.

Птицы летят за Океан. Они летят над пропастью безмолвной воды, таящей внутри силу приливов.

Земля и Луна – обе принадлежат Богу, сотворившему их. Человек только мыслит, что он владеет ими.

Человек мыслит, что он владеет Луной, Землей, Марсом и иными планетами, кружащимися вблизи него; что он владеет домами и городами, что возвел, животными и растениями, что вырастил, пищей, которую приготовил на огне, своими женщинами и своими наследниками, своим богатством, золотом в своих горшках и невидимыми деньгами в своих денежных хранилищах, похожих на царские дворцы. Человек мыслит так: это все мое! Это я сделал! Врешь, жалкий человек. Это не ты сделал. Это сделал Тот, Кто выше тебя. И тебе до Него не достигнуть, хоть ты и мыслишь, что ты создан по Его образу и подобию.

И все начертано. Все уже написано на скрижалях.

Все уже нарисовано кровавыми, красными иероглифами на черном фоне вечной ночи. Красный иероглиф – «ЖИЗНЬ». Красный иероглиф – «СМЕРТЬ». Красный иероглиф – «ЛЮБОВЬ».

А разве это не один и тот же иероглиф?!

Сейчас выйду на улицу, в ночь и снег, и так, босиком, пойду по городу; и мои следы будут застывать на снегу черными иероглифами. Побреду босиком по снегу, задеру голову, погляжу на дома, на яркие костры ночных окон. Люди не спят. Сидят там, за оконными стеклами, в своих жилищах, пьют чай, ссорятся, смеются, украшаются перед зеркалом, спят друг с другом в роскошных либо нищих и грязных постелях, едят, дремлют, кричат от горя, всовывают голову в петлю. Над моей лысой головой – башни Кремля, башни огромных каменных домов, выстроенных людьми из большой гордыни. Железные повозки текут, чиркают колесами, шныряют взад-вперед мимо меня. Выпить желаю; да закрыты в этот час магазины и лавки, открыты лишь ночные рестораны, да они для богатых. А мне остается вокзал, вокзальный буфет. В буфете дают дешевый кофе, дешевые сладкие булочки, дешевую ледяную, из холодильника, куриную ногу, всю в пупырышках, и даже могут налить полстакана дешевого красного вина. У меня в кармане старого пальто, что подарила мне проститутка с Красной площади, есть еще немного бумажек и монет. Куплю стакан вина, будут пить красное вино и смотреть на красную Луну в вокзальном окне. Я, Алешка Юродивый, мужичонка, лысый, босой пьяница, седые космы вокруг лысины по ветру выются, и лет мне уже немало, не мальчик я, не сосунок. Сапоги пропил, щетиной оброс, чепуху мелю, ерундой закусываю, а все меня слушают, что скажу, думают: а вдруг что опасное накликаю!.. – а кое-кто пальцем у виска крутит: сбрендил, мол, совсем мужик. Штаны подтяну, погляжу на Луну. Бомж, бомж – будто кто в колокол бьет: бомм, бомм.

А колокола храма Христа Спасителя мне отходную прозвонят. И вся Москва по-надо мною, как невеста, в слезах наклонится, провожая; и золотые косы Москвы упадут со снежной груди – мне на голую волосатую грудь, ибо к смерти я и пальто пропью, и часы, и крест нательный тоже пропью.

А златоглавый храм Спасителя Христа снова будет разрушен; и снова отстроен – на третий день хотите воскресенья, на третий?!

И люди будут заходить снова в заново возведенный храм, но только уж не будет по стенам ни икон, ни фресок ярких, красивых, ни ликов Господа и святых. Пустые белые стены будут глядеть в молящихся и плачущих. И на пустоту, на тишину креститься будут.

Так пророчествую.

... ..

Он вскинул запястье к глазам, всмотрелся в свои швейцарские часы. Не опоздать бы. Цэцэг не любит, когда он опаздывает. Цэцэг, единственная женщина в мире, может позволить себе облить его стаканом холодной воды из-под крана – хорошо еще, не кипятком, – если он, опоздавший на свидание на час, попросит пить с дороги: «Дай водички, устал!» Цэцэг...

Он вспомнил ярко-красные, без штришка помады, губы: кровь так и играла в них, никакой краски не требовалось, ни «Lumene», ни «Maybellin». Его губы, ее губы. Игра губ, как двух дельфинов. А потом уже – выше, все выше, трогать губами – твердые свежие гладкие щеки-яблоки, короткий, с широко раздутыми ноздрями, чуть приплюснутый нос, широко стоящие над переносьем, узкие глаза, будто полные черной кипящей смолы, с ярко выраженной складкой степного эпикантуса, широкие черные соболиные брови – их ни разу не касались ни щипцы, ни сурьма. Маленькое смуглое ушко, зверье ушко. И на лице – на человеческом лице – выражение хитрого зверя в засаде. Наверное, это из-за этой складки верхнего века. Щурится, как охотник. Степная охотница. Монгольская царевна. Цэцэг Мухраева.

Ему нравилось ее твердое, звенящее, как тибетский колокольчик, имя – Цэцэг. Ему нравилось трогать это имя губами.

Ее лицо. Ее плечи. Ее шея. Ее живот. Ее твердые, будто бы отлитые из раскаленного железа, смуглые дикие ноги. Она обвивала ими его талию, его спину, понукая его, как коня, торопя его, усиливая ударами пяток его удары – его страстные, дикие удары в нее. Дикая скачка

любви. Постель трещала, расплзалась по швам. Он, возвышаясь над ней, прижимал руками ее бешено дергающиеся под ним руки, голые потные плечи. Она была его лошадь, он был ее всадник. Мгновенно она выпрастывалась из-под него, и роли менялись. В роли всадницы он любил ее еще больше. Черные потные жгуты ее волос жгли, хлестали его наотмашь. В особо сумасшедшую минуту любви он подумал однажды: вот бы повеситься на одной ее смоляной крепкой, перевитой пряди.

Цэцэг. Монголка Цэцэг. Знаменитая Цэцэг Мухраева. Вся страна, просыпаясь и засыпая, видела не так давно ее раскосую рожу в ящичке. О, Цэцэг с экрана улыбалась искусно. Все гадали: казашка?.. бурятка?.. корейка?.. хакаса?.. или попросту – татарка?.. а, вы не знаете, вообще-то она калмычка, у нее дома в шкафу, за стеклом, стоит медная статуэточка Будды, купленного на аукционе Кристи в Нью-Йорке... и Будде тому, знаете, сколько?.. не менее пяти тысяч лет!.. и Цэцэг за Будду – состояние отвалила!.. А у нее разве есть состояние?.. Еще какое!.. Девочка далеко пошла и еще дальше пойдет... По рукам?.. По головам, бери выше!..

Ее живот. Ее черные, смоляные волосы вокруг ее живой соленой красной раковины. Иногда, чтобы позабавить его, она вплетала в черные волосы внизу живота мелкие белые и розовые жемчужины, уподобляясь шанхайской или иокогамской шлюхе. И он, склоняясь над ее разверстым лоном, целовал каждую жемчужину и бормотал: ты тайская принцесса, ты повелительница Веселых Домов Бангкока. И она смеялась нежно и презрительно, прижимая смуглой холеной рукой с длинными розовыми ногтями его голову к своему бурно дышащему животу.

Он подошел к венецианскому зеркалу. Поправил борта пиджака. Ничего костюмчик у Армани вчера отхватил. Пойдет. Респектабельный. Немного претенциозный, конечно. Для раутов... для ночных фешенебельных ресторанов. Пальцы бессознательно поправили, чуть ту же затянули галстук. Шелковый плотный итальянский галстук, серо-стальной, с синеватым отливом, с золотисто-коричневым крапом, будто точки тополиной смолы по шелку разбросаны...

Для ночных фешенебельных ресторанов...

Для ночных проститутских закрытых, страшно дорогих ресторанчиков...

Он вспомнил, как и где он впервые встретил Цэцэг.

Нежная, томная музыка. Кто-то щиплет струны – какого инструмента?.. Возможно, это гитара. Нет, это экзотический, неведомый ему инструмент; вот он видит его – он в руках у длинноволосой девочки, она сидит на полу, на соломенной циновке, совсем голая, лишь черная бархотка охватывает ее тонкую шейку, да на левой вывернутой лодыжке – жемчужная низка, крохотные, как рисины, жемчужинки. В ее руках – маленькая круглая тыква с приделанным длинным, как удочка, грифом, натянуто несколько струн. Пальчики-лепестки щиплют струны, стараются. По всему маленькому залу с приземистым низким потолком разложены циновки и толстые ворсистые ковры, и на них сидят посетители, и с ними – девушки. Девушки и их гости сидят чинно, скрестив ноги. Кое-кто пьет чай. Чай подают в широких больших фарфоровых пиалах. На блюдах, стоящих прямо на коврах и соломенных подстилках, разложены заморские яства. Сильно, резко пахнет йодом. Шепот: «Фугу, фугу!..» – «Да что брешешь, это не фугу, какая это тебе фугу, это просто хозяйка треску Васье приказала изжарить на кухне особым образом... а за фугу в меню выдает... чтобы баксов побольше содрать...» – «А ядом, ядом-то каким-нибудь она ту треску полила?!..» Он осматривается. Ночь в японском ресторанчике «Фудзи» на Малой Знаменской стоит очень дорого. Здесь бывает денежный цвет столицы. Цвет тоже хочет иногда развлечься, отдохнуть – не по-русски; как-то по-иному. Восток нынче в моде. Восток щекочет нервы, язык и сердце. Мысли Восток иногда тоже щекочет. Не только Дальний, но и Ближний.

Он разделся, бросил шубу на руки согнувшемуся в три погибели раскосому лакею, шагнул в зал. К нему, вертя огромными бантами на задах, смешно ковыляя в японских гэта по коврам, подошли, одетые в шелковые кимоно – ярко-желтое и густо-лиловое – две девушки: одна маленького роста, другая – повыше. Малютка кокетничала, вертела маленьким, как орех, задид-

ком, солнечно-желтый шелк кимоно дразнил, зазывал. Та, что повыше, в фиолетовом, не изгалялась, стояла достойно. Улыбалась. Он оценил гордость и скромность. «А дорого тут, наверное, стоят девочки», – весело подумал он, жестом показывая лиловой гейше: садись рядом со мной. Гейша, скрестив ноги, села на красный ковер, с не стирающейся с лица холодной улыбкой налила в громадные красные пиалы горячего чая. Девочка продолжала щипать сямисен, струны жалобно звенели, плакали – о несбывшемся. Гейша в лиловом знала все правила тяно-ю – поэтической чайной церемонии. «Давай, давай, изящно отставляй мизинчик, поглядим, какая ты в койке, может, ты трубая русская базарная баба. У вас тут у всех глаза накость подкрашены. Япо-о-онки!.. японки из Никитников, с Красной Пресни...» Гейша вынула из-за пазухи веточку цветущей вишни – откуда в январе-то, еще глупо удивился он, – и осторожно опустила в пиалу с горячим чаем. Белые лепестки поплыли по коричневому кипятку. Девушка приблизила широкоскулое лицо и сказала медленно: «Никогда не торопись. В любви никогда не торопись. Сегодня будешь только смотреть на меня. И пить со мной чай. Я буду трогать тебя за руки, трогать твое лицо и целовать тебя. Завтра придешь».

Он хотел сначала рассмеяться: что за игрушки, что за дразнилки!.. – но она глядела так холодно и надменно, а губы ее изгибались так призывно, свежие, алые, без следа помады, зовущие, – что он подавил в себе странное, дикое желание – ударить ее по щеке, а потом обнять и повалить тут же, на красный ковер, – что он явился завтра в «Фудзи» как штык, снова заказал дорогой ужин, снова сидел на карачках, в этой глупой, неудобной восточной позе, ноги затекали и голова кружилась, рядом с этой ловкой черноволосой калмычкой, да, скорей всего, калмычкой. Они опять пили чай, ели какую-то японскую бурду, какие-то норимаки и сладкий рис с вареными фруктами и кремом в крохотных фаянсовых горшочках, пили сакэ, и она приближала к нему веселое, лоснящееся, румяное лицо и нежно, едва касаясь губами, целовала его в губы. И он вздрагивал и весь, с ног до головы, покрывался горячим потом.

Она отдалась ему только на третий день.

Ночи не было. Он не заметил, была ночь или нет.

После этой ночи в номерах закрытого ресторанчика «Фудзи» на Малой Знаменской он больше не бывал у лиловой гейши. Он понял, что влип. Побоялся влюбиться безумно. Испугался женитьбы, связи. Жениться на шлюхе, как это романтично, ах! Утром, перед тем, как уйти, он положил ей на ореховый столик две тысячи долларов под большую тяжелую перламутровую, с рожками, раковину южных морей.

И он потерял ее из виду. Он даже не знал, как ее зовут.

Он не знал, что она из ресторанчика ушла, роль гейши наскучила ей, надоело разливать чай в пиалы и заученно улыбаться гостям, а доллары можно было заработать и в других местах – там, где не надо было ночь напролет улыбаться за чаем или изысканно спать с мужиками; она подвизалась одно время в японской фирме «Nissan» переводчицей, зная хорошо английский и сносно – японский, потом играла в Монгольском театре в Москве в ставшей модной средневековой буддистской мистерии Цам, изображая в шествиях и танцах Белую Тару, женское воплощение Будды; постановку несколько раз вывозили за рубеж, ее Белой Таре рукоплескал Нью-Йорк и Сан-Франциско, Париж и Пекин, но потом ей наскучило и это; и однажды Ефим увидел ее раскосое свежее, румяное, прельстительное лицо – лицо монгольской принцессы, любимой жены богдыхана – в экране телевизора. Увидел – и ахнул: да ты еще больше похорошела, гейша со Знаменки! Теперь разыскать ее, встретиться с ней не представляло труда. Он с трудом подавил в себе искушение. Он не стал звонить на ОРТ, не стал домогаться свидания. Ему слишком помнилась та ночь. У него были другие женщины, с ними все обстояло гораздо проще и легче.

Но когда до него дошли слухи, что магнат Андрей Мухраев женился на невероятной восточной красотке, дикторше Центрального телевидения – ну да, вы все знаете ее, как же, на Цэцэг, вот баба, оторва, самого Мухраева подцепила!.. – тут он уже не выдержал. Она с мужем

теперь бывала на всех крупных мафиозных тусовках, на которых и он, Елагин, бывал. Однажды в Кремле, на приеме в честь приезда президента Франции, он, с бокалом шампанского в руке, подошел к ней. Он волновался. Она не сразу его узнала. Вглядывалась, заученно, как тогда, в «Фудзи», улыбалась. Сколько лет прошло?.. Разве она упомнит всех, кто покупал ее ночи после тя-но-ю?.. Он теперь знал ее имя. Но боялся назвать ее по имени. Он стукнул бокалом о ее бокал и прошептал: «Фудзи». Она вздрогнула. Она стояла рядом с мужем в сильно открытом, темно-лиловом, как тогда, платье, но на сей раз это был не текучий шелк, а твердая парча. Жесткий корсаж поддерживал ее твердую, будто выточенную из желтого дерева, грудь. Она улыбнулась ему, показав все зубы. Длинные аметистовые серьги у нее в ушах качнулись. Она отпила из бокала шампанское и так же тихо бросила ему: «Привет».

И все закрутилось.

Они уехали с приема в его «Феррари». Он узнал, что они с мужем живут отдельно, у них – у каждого – фешенебельные апартаменты в самом сердце Москвы, Цэцэг жила на Якиманке, в элитном доме рядом с отелем «Президент», Мухраев – на Пречистенке, в богатом особняке, – а еще у них был принадлежавший им обоим трехэтажный дом в Подлипках, в чудесном сосновом лесу. «Ко мне или к тебе?..» Не ставь так вопрос, рассмеялась она. Она велела ему ехать на Якиманку, и он, живший богато, выдавший виды роскошества и аристократизма, был поражен невероятием, почти сказочностью ее быта. Бытом это было трудно назвать. Казалось, в этом пространстве, в этих стенах живет поистине богдыханша, жеманница, утонченная, капризная. Ему чудилось – он попал в апартаменты Зимнего дворца, в царские покои. «Я люблю роскошь, – просто сказала она ему, – я не жалею никаких денег на красоту вокруг себя». Они еле смогли добрести до постели – так и шли к устланной атласными одеялами и голубыми шкурами ирбиса, необъятной кровати, обнявшись, сплетясь. «Я же говорила тебе еще тогда, никогда не спеши», – рассмеялась она, когда он, раздевая ее, порвал у нее на груди парчовое платье цвета моря в грозу.

Так Цэцэг стала его любовницей, и он никогда не допытывался, как она жила все эти годы, что делала, с кем спала, с кем делила жизнь. Ему было это не нужно.

И он не знал, что когда-то, давно, еще до работы в «Фудзи», она была женою крупного международного бандита, террориста Ли Су-чана, по рождению китайца, много лет прожившего в Америке и в Тегеране, а сама родилась в Монголии, и девочкой ее привезли в Россию, и ее девичья фамилия была Цырендоржи, что по-монгольски означает – «небесный цветок».

Ну, так... Пора. Он еще раз кинул взгляд в зеркало. Отошел к шкафу, резко, со стуком выдвинул ящик. Пистолет, он всегда брал с собой пистолет. Даже когда ехал к женщине. Мир очень изменился. В мире надо было держать ухо востро. Даже с Цэцэг?.. Даже с Цэцэг. Он чувствовал: за спиной красивой женщины сейчас, сегодня могут стоять толпы мужчин-воинов, жаждущих истребить друг друга – и его. Надо уметь защищаться. Впрочем, так было во все времена.

Он накинул массивную бобровую шубу, в которой сам себе напоминал портрет Шалыпина кисти Кустодиева – сине-коричневый, бархатистый ворс меха, длинные полы, по пяткам быют, могучие отвороты огромного воротника, – сунул в карман золотой портсигар от Гуччи. Еще взгляд в зеркало. Как же ты любишь свое отражение, Елагин. Отражение – или себя?.. Он спустился вниз в скоростном лифте, и сердце подкатило к горлу, как всегда, – вышел из подъезда на улицу, и мрачная, тяжелая дверь туго-натуго, щелкнув, закрылась за ним. Закрылся его мир. Его эксклюзивный, богатый, его собственный мир. Мир, куда не было иным – поганым, чужим, рабским, робким, глупым люмпенам – никакого доступа. Они и не знали, и не узнают никогда, что здесь, за тяжелой мощной дверью, в его мире, творится.

Он нынче не завел машину в подземный гараж – поленился. Все равно его дом охраняют, охранники ходят вокруг дома, сидят в подъезде, все отлажено, все продумано, все защищено. Ну, постоял нежный «Феррари» перед домом, померз... Он с нежностью думал о железной

повозке, как о живом человеке. Тьма, ночная тьма, о, как алмазно блестит снег. Ему с детства нравилось, как остро, слепяще, тысячью алмазных цветных искр блестел снег ночью, в свете фонарей, когда мать везла его в машине домой из Сандуновских бань – Ариадна Филипповна, в те поры еще молодая хорошенькая Адочка, ужасно любила париться, покупала на вечер номер с парилкой, русской или сауной, и брала с собой малое дитя, и парила мальчишку до умопомрачения, и хлестала его березовым, а то и пихтовым веником, – они ехали домой, он, в шубе, в теплой шапке, обвязанный, как девочка, крест-накрест пуховым платком, чтоб не простудился, не дай Бог, пялился в машинное стекло, наблюдая сказочное сверкание снега, а мать, небрежно бросив руки на руль – она водила машину, как залихватский лихач, разнузданно, безоглядно, – цедила сквозь зубы: «Ну что тарацишься, снега не видел, Москвы не видел?..» Москва ночью манила его, втягивала, восхищала. Москва ночью казалась ему волшебным городом, полным опасностей и восторгов. Он плющил нос о стекло. Мать закуривала прямо в машине, дым лез ему в ноздри, он чихал, мать раздраженно гасила сигарету в «бардачке». «Мама, почему ты куришь? Курят только дяди». Я без курева не могу, зло рубила она воздух словами, в крови табак течет, привычка.

Привычка... Где она привыкла курить?..

Иногда мать брала его на свои спектакли в Большой театр. Он не узнавал ее на сцене в гриме в роли Снегурочки. «С подружками по ягоды ходить, на оклик их веселый отзываться!.. Ау, а-а-ау-у!..»

Он вырос – и Москва не потеряла ночной страшной магии. Он усмехнулся, идя к машине: Москва стала еще волшебнее и еще опаснее, чем казалась в детстве.

Снег хрустит под сапогами. Хрусь, хрусь. Так хрустит морковка на зубах. Так хрустит разрывающаяся бумага. Где машина?.. На миг его окатило кипятком: украли!.. – нет, вон она. Смех над собой: ну, украли бы, новую бы купил, еще лучше! До «Феррари» оставалось несколько шагов. Он уже почти бежал, глянув на часы под рукавом шубы: время, время! Еще мотор на морозе разогреть!

Навстречу – наперерез ему – из тьмы морозной ночи метнулась тень.

Черная вязаная шапка на голове. Прорези для глаз.

Глаза – в прорезях самодельной бандитской маски – сверкают в него.

Он не успел сунуть руку в карман и вытащить «руби». На него уже глядело бешеным черным глазом, глазом пустоты, пистолетное дуло.

– Я знаю, кто ты. Не толкай руку в карман. Засунешь – прошью насквозь.

«Он со мной говорит – значит, он уже не киллер, – пронеслось в голове. – Значит, он или вымогатель, или наводчик, или...»

– Что тебе надо? Деньги?

Он задал единственно возможный вопрос в его положении. Единственно верный.

– Да. Деньги.

– Ну так держи...

Он все-таки сделал попытку сунуть руку в карман. Чтобы вытащить не пистолет – бумажник. «Кажется, с собой тысячи три долларов наличными. К Цэцэг без денег ездить нельзя. Вдруг она завтра утром, после ночи любви, захочет поехать куда-нибудь в бутик на Петровке, купить себе за пару тысяч новый костюмчик от Фенди... или туфельки от Андрэ. Мало ли какая блажь ей в голову придет. Да, около трех тысяч. Парню хватит с лихвой. Отлично подлагается. Ему и не снилось, плюгавому воришке».

– Стой! Опустил руку! Продырявлю!

Дуло уже упиралось ему в лоб. Он медленно поднял руку. Потом другую.

– Ты, поосторожней...

Бешеные глаза блестели в прорезях черной лыжной шапки. Парень держал оружие умело, крепко, дуло холодило Елагину голый лоб – он отправился к Цэцэг без шапки, все равно, думал, в машине тепло, а доехать до Якиманки – ну, пять, ну, десять минут...

– Я не твой доктор. Слушай, мразь. Нам не твой кошелек нужен. Нам нужны твои деньги. Твои деньги на твоих счетах. Твои большие деньги. Они лежат у тебя на счетах без дела, как тюлени. А у нас они в дело пойдут.

Его взорвало. Под пистолетным дулом – опасно, нехорошо взорвало.

– Без дела?! А ты, щенок, сучонок неутопленный, ты знаешь, они у меня в деле – или без дела?! Едальник свой заткни...

Парень в черной шапке сунул ему кулаком, в котором держал пистолет, в скулу. Елагин шатнулся. Вытер кровь с подбородка ладонью. Ненавидяще глянул на бандита.

– Я-то еще ничего не сказал, а ты уже меня оскорбляешь. Негоже.

– Для чего вам мои деньги?!

– Для нашего движения. Для движения, что смоев всю грязь и гадость в стране. Очистит все. Уничтожит тех, кто уничтожает нас всех так много лет. Так много... веков.

– Кого, кого уничтожит?!

От сильного, умелого удара у него кружилась голова. Темнело перед глазами.

– Кого надо.

Голос из-под шапки доносился тускло, ровно, бесстрастно. Елагина затрясло.

– А-а, понятно... Понятно, мать вашу!.. – Он задохнулся. – Ну вот я, русский человек, не инородец, я, я добился чего хотел, я разбогател, я открыл зарубежные счета, я – делаю – деньги – своим – черт побери – умом! И это ко мне вы подкатываетесь, чтобы выманить деньги – у меня!.. вы, кто вы такие, мать вашу, мать, мать...

– Заткнись.

Бандит размахнулся. Елагин не успел отреагировать. Он уже лежал на снегу, отплевываясь, снег набился ему в рот, в зубы, рот снова был полон крови, и он плевал кровь на снег, и тер, мыл лицо снегом, утирался, стряхивал сгустки крови с бобрового бархатисто-синего воротника. Парень равнодушно, сверху вниз, с пистолетом в голой руке, смотрел на него.

– Я... куплю свою жизнь?..

– Ты сделаешь больше. Ты примкнешь к нам. Ты станешь нашим. Из дерьма ты превратишься в героя.

Елагин сел на снегу. Он размазал по лицу кровь, его лицо напоминало новогоднюю маску медведя, обьевшего праздничной клубники. «Черт, черт, выбил зуб, шантажист. Все-таки выбил! В „Дентал-студио“, конечно, винтят... тысяча баксов зубик, как с куста... Теперь без бодигарда – никуда... Шагу без охранника не шагну...» Это ты, ты, магнат недорезанный, считаешь денежки?!.. «Чем богаче – тем жаднее», – вспомнил он насмешливую улыбку матери, когда она попросила у него денег на покупку дома во Франции, на Лазурном берегу, а он, пряча глаза, ей отказал.

– Я не хочу, – он снова сплюнул на снег красную жижу, – быть героем.

– Твое дело. Не можешь стать героем – пожалуйста, будь дерьмом. Но если ты дерьмо, тебя уничтожат.

– Кто ты?!

Не помня себя, он заорал. Он проорал это так натужно-оглушительно, резко-истерично, надеясь, что – услышат, испугаются... Откроют окна! Вызовут милицию!

Молчание. Тишина. Каменный глубокий колодец двора. Каменный мешок. И они оба – мертвые камни на дне мешка; мешок прорвется – выпадут на дорогу, никто не заметит.

Если его здесь и сейчас убьет этот придурок – никто не заметит.

Все всего боятся. Все таятся. Страх накрывает всех колоколом, куполом. И все жмутся друг к другу под куполом страха; и каждый в страхе закрывает глаза, отворачивается от крика,

от ужаса, и шепчет себе под нос: «Ничего не слышал, ничего, ничего. Это чужое дело, чужое, не мое».

Парень, глядя на лежащего на снегу у его ног Елагина, медленно стянул с головы черную шапку. Пистолет не опустил.

И Ефим прижал ладонь ко рту. Вдавил ладонь в зубы, чтобы не закричать.

У парня не было лица.

Вместо лица у него была страшная маска. Раззявленный до ушей рот. Бугристые, рваные, грубые сине-лиловые шрамы вдоль и поперек щек. Сбитый, свороченный чудовищным ударом кулака на сторону, сломанный нос – хрящ вдавился внутрь, в череп, как у сифилитика. Рваные, будто их насильно отрывали от головы, терзали щипцами, резали ножницами, уши – не уши, а кожные лохмотья вместо ушей. Через весь лоб шел страшный белый рубец, будто по голове парню заехали казацкой саблей или маханули острой бандитской финкой. Зубы во рту виднелись – половина была повыбита, черная скалящаяся пасть ужасала.

И только глаза на том, что когда-то было лицом, глядели умно, бешено, ясно.

Он не помнил, когда и как попал в лапы бандитов. Бандиты собирали, сколачивали маленький отряд бесплатных рабов-нищих, уличных попрошайек; при всем кажущемся грязном примитиве этот промысел давал, как ни странно, неплохой доход, – и отловленного пацана, вчерашнего несмышленища, молокососа, хорошенько, беспощадно *измастырили*, изуродовали раскаленными щипцами, бритвой, пучком горячей пакли да и просто кулаками, чтобы рожа калеки смогла вызывать жалость и ему больше бы, щедрее подавали. Этот прием был известен века назад – во многих странах, в Англии и во Франции, в Германии и Италии, разбойники нарочно уродовали детей, чтобы уродец мог разжалобить своего созерцателя. Но в средневековой Европе уродцев еще и продавали задорого в богатые дома, уродливые карлики и страшные, как смертный грех, кретины с успехом играли роль шутов, забавляли и потешали почтеннейшую аристократическую публику, а в нынешнее время... Нынче урод был сугубо уличной принадлежностью – так же, как и вонючий бездомный бродяга, как побирушка у хлебного ларька.

Мальчонку звали Чек. Он не знал, прозвище это было или имя; его всегда окликали так, и он привык. Чтобы избавиться от побоев и подневольного труда, он убежал из большого города, имени которого он не знал, далеко на юг, в горы; просто сел в поезд и поехал зайцем, забрался в плацкартном вагоне на третью полку и скрючился, свернулся в клубочек, так и ехал, голодный, не слезая с полки, пока его не обнаружила дотошная проводница: кто это у меня там сопит под потолком?! – и не ссадила, не вытолкала в шею на станции, а станция-то была уже южная, уже за Краснодаром-Главным. Он пробрался в горы – и попал, как кур в ошип, в лапы к боевикам. Он не знал, что на Кавказе шла война; ему пришлось это узнать. Боевики приволокли его, грязного, маленького, упирающегося, нещадно матерящегося, в часть – и хохотали, уставив руки в бока, и надрывали животы: ну и ну!.. вот это картинка!.. вот это чудище, ночью приснится, Ахмед, испугаешься, в штаны наложишь!.. – и тут же поняли, как его можно использовать в войне. Они засылали его разведчиком в федеральные части: «Ты, бей на слезу, пацан, гавари, шыто тибя изрезали на куски эти гады чечнюки!.. гавари, шыто всех тваих перебили, шыто сестру изнасилывали, а ты чудам убижал!.. и вот не знаишь, куда бежать!.. А сам, ты, слышишь, все у них разглядывай, все – запоминай, нам патом расскажышь, ты, понял?!..» Они бросали его под федеральные танки со связками гранат: «А, плевать, умрет малец – туда ему и дорога, подумаешь, цаца какая!.. а нам надо, чтобы эти танки в ущелье не прошли, нам надо их остановить!» – и он швырял гранаты под танк, падал на пузо и отползал прочь, оглушенный взрывом, он выживал – чудом, и он удрал от воюющих чеченцев – тоже чудом.

Он убежал, уродец по имени Чек, и так начался его БЕГ.

Начался его Бег Через Всю Страну.

Так бегут не люди: так летят птицы-подранки и низко, почти распластавшись по земле, бегут голодные битые собаки. Он видел ужас жизни лицом к лицу. Он видел, как на Кавказе воют над трупами убитых детей одетые в черное, коленопреклоненные женщины; он видел в Крыму вырубленные, выкорчеванные тысячелетние виноградники, видел крымских татар с бешеными лицами, бегущих по улицам с плакатами в руках: «Крым – наш!»; он видел, как на Каспии вытаскивают из моря огромных остроносых рыб с колючими костяными боками, похожих на крокодилов, вспарывают им брюхо ножами и вынимают из брюх икру, выгребают руками, трясясь, чтобы никто не увидел, не заловил, бросают черные икряные комки в алюминиевые цистерны, грузят в лодки и увозят, с матюгами заводя мотор, а рыб так и бросают на берегу – гнить. И он подходил и трогал острые рыбы носы, когда лодки уже скрывались в сизой морской дали и его уже никто не мог увидеть, и отрезал от самой большой рыбины кусок, и разжигал костер, и жарил рыбу, и с нее капал вкусный желтый жир, и он ел рыбу и плакал – ему было ее жалко, такую большую и бесполезно мертвую, и других рыб, валявшихся поодаль. Он видел воров в Ростове-на-Дону, всовывающих ножи под ребро, как браконьеры – той колючей рыбе, молоденькой девчонке из отельного варьете – за то, что она не сняла нынче ночью того, кто ворами был позарез нужен; он видел, как в Курске под электричку пацаны толкнули приятеля, не принесшего на встречу заказанные деньги, и пацана переехало пополам, и еще полминуты рот распяливался в крике, хотя сознание мальчишку уже покинуло; он побывал и на северах с сезонниками, помогал бить оленей в бригаде, ошивался с геологами, закинулся неведомым ветром в славный бандитский городок Питер – ух, и весело же погулял он там! В странствиях Чек вырос, учился быть сильным, злым, гордым. На севере, в Воркуте, один старый зэк, с жалостью и пониманием глядя на его изуродованное лицо, тихо сказал ему: «Помни, малец, в жизни есть условие: никого не бойся, никому не верь и ни о чем не проси. Соблюдай это условие, и ты будешь жить. А нет – будешь существовать. „Петухом“ будешь. А потом и убьют тебя, пришьют как миленького». – «Меня и так пришьют! – оскалился Чек. – Странно, что до сих пор не пришили!» Так – озлобленный, повзрослевший, заимевший не опыт жить, но опыт ненавидеть, он закатился, наконец, туда, откуда выкатился когда-то – в Москву. Ощерившийся уродливый щенок, затаивший глубоко внутри себя ненависть к миру, родившему его на свет и изуродовавшему его, он растил в себе эту ненависть, лелеял ее, холил – и, нарвавшись на ребят-скинхедов, избивавших однажды в метро лощеного раскосого, богато одетого, желтолицего господина – кейс богатого азиата валялся далеко, у эскалаторов, чемоданчик пнула нога в огромном черном ботинке, – примкнул к ним.

Он примкнул к скинам, как примыкает к ним каждый отверженный.

Каждый, кто был сильно бит – и выжил.

Каждый, у кого был отнят кров, семья, очаг, стол и собственная постель – и кто поднялся над своим бездомьем и одиночеством, скрипнув зубами.

Каждый, кто копил в себе ненависть и горечь, не зная, на кого ее вылить, и кто обнаружил: ого, враг-то есть, оказывается! Вот он!

Вчера скины с Моховой мочили вусмерть рэпперов из Марьиной Рощи. Побойше удалось на славу. Скины отомстили рэпперам за то, что они подражают проклятым ниггерам и носят широкие негритянские штаны, и поют вшивые ниггерские песенки, и танцуют на площадных коврах и старых одеялах, разложенных прямо на улице, свои поганые ниггерские танцы. Так отомстили, что – любо-дорого! Рэпперы еле ноги унесли. А самого главного, Грина, они хорошо мочканули. Как клопа. Грин, мать его, самый главный расп... дая у этих г... едов и есть. Он-то скинам в лапы и попался. И они его отделали. Отделали будь здоров. По первому разряду. Мамашка у любимого сыночка костей не соберет. Башку двумя камнями придавили. Били классно, били везде. Во все места. Детишек теперь у суки не будет. И сам он – будет ли, нет ли, еще бабушка надвое сказала. Башку так измолотили – хоть сейчас в фильм ужасов. Да

у нас сейчас все сплошной фильм ужасов! Выходи на улицу с камерой и снимай! Не хуже, чем у американов, получится!

Отдубасили реппэров – пора и отдохнуть. Нажраться и подраться? Нет, сначала подраться, потом – нажраться! Слова в слогане меняются местами! Эй, ребята, все бритые?! Волосики не подросли?! Никого машинкой обчеккрыжить не надо?! А водочки дашь, братишка, опосля стрижки?! Дам, дам, конечно, как истинному арийцу – истинный ариец!

Вперед, вперед. Где соберемся? Соберемся сначала у Зайца, потом все, кучей, двинем в Бункер.

А кто сегодня в Бункере?

Не кто, а что. Сегодня в Бункере – сборище века! Таракан приезжает, твою мать!

Сам Таракан?! Во классняра! И что лабать будет со товарищи?!

Ну что, что! Ты сам не знаешь разве, что может выдать на-гора «Реванш»! Всю классику! «Арии спустились с Белых гор», «Белая кожа, черная кожа», «Бритоголовые идут», «Аркаим»... ну, как всегда, конечно, «Убей его, убей»... ну и там, наверное, новяк какой-нибудь, не знаю...

А «Дон’т стоп, хулиганс» – будет петь?!..

А пес его знает, Таракана, что ты, Зигфрид, у меня спрашиваешь, я что, автоответчик кинотеатра «Россия»?!..

Таракан был знаменитейшим рок-музыкантом, популярным у бритоголовых. «Реванш» – знаменитейшей рок-группой со скандальной, нечистой славой: немало побил Таракан тарелок и фужеров на именитых сейшнах, немало салатов, приправленных майонезом, вывалил на белые пиджаки спонсоров престижных рок-концертов, немало девиц перещупал и перетоптал даже не в гостиничных номерах – прямо за кулисами, на коробках и ящиках из-под аппаратуры. Таракан был славен не только скандалами. Его рок-музыканты, наголо обритые, в противовес ему, обросшему, мохнатому, с неряшливо спутанной жидкой бороденкой, не только откалывали на сцене хулиганские номера, орали и выкрикивали нацистские лозунги и во всеуслышание матерились в микрофон – дешевым эпатажем искушенную публику было уже не удивить, – но и выдавали, время от времени, на удивление знатоков, такие отпадные хиты, что и не снились ни «Джей-3», ни «Герцеговине флор», ни «Фигляру», ни «Истинным арийцам». Это была музыка! Можно было улететь, как от хорошего косячка, слушая ее. Таракан приобрел вес. Его песни гремели по России. Пару раз он выехал на Запад, в Германию и Англию, и даже записал там пару альбомов, но больше на Запад не ездил – не хотел: «Снобы там все, ребяташки, кого ни копни – снобы!» Германия, страна классического нацизма, привлекла его лишь потому, что он хотел попьанствоваться в мюнхенском кабачке, где начался знаменитый мюнхенский путч Гитлера. Да, вот такая блажь, только и всего. «С группы „Реванш“ начнется наш реванш», – пошутил однажды их Фюрер.

О, их Фюрер был классный парень.

Их Фюрером можно было клясться, божиться, материться и лечить рваные раны. Их Фюрер знал дело туго. Будущее было в руках их Фюрера – в этом они все не сомневались.

Никто из них не сомневался.

Ну да, вчера была отличная бойня, не такая, конечно, масштабная, как задумывалось, но все равно отличная; и от ментов они ускользнули, вовремя ушли; и приезжал из Питера Таракан со своими бритыми; и давненько они не слушали такой музыки; и в Бункере, о, в Бункере всегда была какая-нибудь – не какая-нибудь, что он брешет, а отличная! – хавка, это уж Фюрер всегда расстарается, на концерт знаменитости спонсоров нароет, изысканной хавкой столы завалит, ешь не хочу, икрой мажь морду, раками бросайся, как камнями! Торт на голову ставь и так, с тортом, иди плясать, все равно он когда-нибудь упадет и всего тебя кремом обмажет! Вот веселья-то будет!

Да, бойню надо отмечать, это славно придумано. Да, он пойдет сегодня в Бункер.

И он пошел нынче в Бункер, и ногой распахнул дверь подъезда, и постучал, как между ними, скинами, было условлено, в массивную железную дверь; и ему открыли; и тут же, сразу же, около входа, он увидел сидящую на вертящемся офисном стуле девушку в белом. Ее странные, чуть раскосые глаза смотрели странно – куда-то вдаль. Будто бы она презирала всех, кто путается у нее, царственно сидящей, под ногами.

Чек сплюнул. У, какая царица! Цаца, а не царица. Платье зачем-то белое, до пят. Старорежимное платье. Таких телки сейчас не носят. Особенно – их телки, бритые. Они носят такую одежду, чтобы удобно было рассматривать наколки, многочисленные tattoo и рисунки на теле. Сейчас на теле модно рисовать все что угодно. А эта сидит – ни рисуночка, ни татуировочки, и волосы черной волной вдоль лица висят. Как спущенный черный флаг.

Ишь, а что это такое чернявая телка держит в руках?! Бляха-муха, да у нее же на коленях корзина, а в ней – что в ней?.. Чек наклонился. Свечи! Провалиться на месте, свечи! И еще – странные глиняные пузырьки, и она так осторожно их протягивает входящим, и они, немало удивленные, берут у нее эти глиняные свистульки из рук. Чек присмотрелся. Высокий скинхед с уже отступающей на башке темной щетиной взял из рук девушки такую свистульку, поднес зажигалку. Светлое пламя язычком взвилось, задрожало на сквозняке. Светильники! Эта телка раздавала вновь приходящим в Бункер светильники!

Ну да, и свечи – тоже... Вон, все со свечами в руках стоят, свечи горят... что, в Бункере сегодня света нет?!.. или это Фюрер приколом такой придумал, новый?!.. Какой приколом, дурак, может, просто света нет...

– Эй, – негромко сказал Чек и слегка двинул девицу кулаком в плечо. – Дай твою игрушку.

Она медленно повернулась к нему, протянула ему – в обеих руках – и свечу, и глиняный светильник. Ее лицо не дрогнуло. Она по-прежнему смотрела вдаль, поверх него, сквозь него. Убынула. Он взял из ее рук глиняный светильник, похожий на птичку, на жаворонка. Сказал:

– А зажигаешь тоже ты? Обряд такой? Или мне можно зажечь?

Она не ответила. Смотрела вдаль, мимо.

И он понял, что она слепа.

Зажег светильник, нашарив спички в кармане. Отошел от слепой, раздававшей свет. Вошел в зал. Там уже буквой «П», каре, стояли роскошно накрытые столы, и во тьме сияли и вспыхивали огни, освещая бритые головы скинхедов, светлые модные, от Фенди и от Зайцева, пиджаки и смокинги спонсоров и именитых приглашенных, металлические бляхи и цепи на кожаных «косухах», блестящие в ноздрях и в проколотых губах пирсинги. Тьма, как это красиво. Мрак. И во мраке – огонь. Мощный огонь древних ариев.

Дверь в зал слегка приотворилась, и Чек снова увидел сидящую у двери девушку с корзиной на коленях. Из-под подола белого, будто невестиного, платья высовывались аккуратные белые туфельки. Он потихоньку сплюнул. Невеста! Божья невеста, что ли?.. Невеста Фюрера?.. Чек знал – Фюрер относился к женщинам никак. Что есть они, что нет. Никто и никогда ни разу не видел его с женщиной. Его интимная жизнь не была предметом обсуждения у скинов и у ребят постарше, уже не бывших каблуком в морды в метро и на рынках, а занимавшихся разработкой новой идеологии и поисками денег для покупки... чего? Оружия? Чек предпочитал не думать о войне в открытую – он уже завоевался, настрелялся, навидался смертей. Пусть Фюрер делает что хочет. На то он и Фюрер.

«Вот они-и-и-и!» – заорали скинхеды, воздевая над головами кулаки, приветствуя изо всей силы – вопя, брызгая слюной, топая ногами, оглушительно свистя – ультраправую рок-группу «Реванш» с Тараканом во главе. На небольшую сцену зала в Бункере выкатились налысо бритые ребята, присели с гитарами в руках – и завыли, заорали, надсадно завопили, скандируя текст всеми скинами обожаемого хита: «Убей его, убей! Убей средь бела дня! Убей его скорей! А то убьют тебя!»

– Ты желтых и цветных,
Ты черных и жидей
Бей в морду и под дых!
Убей его, убей! —

восторженно завопила, подпевая, толпа. Зал бушевал. Со столов уже хватали, не чинясь, не ожидая особого приглашения, яства и бутылки. Пробки летели в стороны, в лица и в потолок. Шампанское пенилось, выливалось на пол и на стол в неумелых мальчишеских руках. Иронично глядели, косились спонсоры. Или это были не спонсоры? Чек многих видел впервые. Вместе со всеми он вскидывал руки, бесился, выкрикивал: «Убей его, убей!» И все косился на дверь. Где эта девушка? Неужели ее не пригласят к столу?

Таракан уже нажрался водки и выкидывал коленца. Влез на стол, топтал ногами салаты и мясные закуски, схватил непечатую бутылку, раскрутил в руке – и швырнул, как гранату, об стену: «Вот вам, вы, черные гады, съевшие нас! Так мы замочим каждого, кто...» Длинный, продолжительный вой был ему ответом. Ребята из «Реванша» снова кувыркались на сцене. Теперь они пели нечто новое. Чек, накачавшись водкой и объевшись горячим – притащили антрекоты и куриные котлеты с косточкой, по-киевски, – с трудом разбирая слова. Он понял только: «...начнем сначала! Начнем, Россия-мать! Тебя все убивали – мы будем убивать!...» Пьяные скины, обнявшись за плечи, качались из стороны в сторону и горланили уже кто во что горазд. Таракан развалился на столе. Его взасос целовала бритоголовая девица с искусной татуировкой на спине. Татуировка изображала свернувшуюся клубком огромную змею, по виду – анаконду. Спираль времени, да. Жирненькая спина девицы подрагивала, как холодец. Чек снова покосился на дверь. Слепая девушка в белом платье стояла в двери, взявшись за косяк. Она печально, мучительно прислушивалась к тому, что происходило в зале. Ее ноздри раздувались, она ловила запахи еды. «Черт, ведь она хочет есть, – догадался Чек, – посадили телку раздавать свечи, а покормить-то и забыли». Он сгреб со стола в чью-то тарелку остатки салата, две тарталетки с паштетом и икрой, кинул два мандарина, пару яблок и двинул к ней со всем этим угощением. Она уже снова сидела на вертящемся черном стуле. Он сел перед ней на корточках. Положил ей на колени тарелку. Корзина со свечами стояла у ее ног, на полу.

– Жрачку тебе принес, – сказал Чек, не зная, что еще сказать, взял из тарелки яблоко и сунул ей в руку. – Вот, яблоко, возьми! Пошупай...

Девушка осторожно обняла пальцами круглое красное яблоко. Поморщилась.

– Холодное, – тихо сказала.

– Ешь, грызи! Ты же тут обалдеешь с голодухи, пока они все там надрываются будут...

– Спасибо.

Она поднесла яблоко ко рту. Не надкусила. Вдыхала запах.

– А... какого оно цвета?..

Чек растерялся. Яблоко было густо-красное, темное-алое, его блестящие бока глянцево лоснились.

– Оно?.. – Он вздохнул, пожал плечами. Сидеть на корточках становилось все невыносимее, ноги затекли, и он сел на пол, раскорячив ноги, обняв ногами щиколотки слепой. – Красное такое. Как кровь. Ты знаешь, что такое кровь?

Слепая улыбнулась. Он ни у кого никогда не видел такой улыбки.

– Знаю, – тихо прошептала она.

– Откуда знаешь? Ты ж ни хрена не видишь.

– Знаю. Я любила красную краску. Краплак, кадмий красный... сурик. Я до сих пор вижу свои картины... когда засыпаю. И палитру, – сказала она, по-прежнему мертво глядя перед собой слепыми глазами.

... ..

Картины. Да, такие вот картины.

Цветные. Яркие. Невыносимые.

Детство в горах, в Южной Сибири, на монгольской границе. Отец – пограничник. Мать – улан-удэнская шлюха. Отец принял ламство, стал ламой в Иволгинском буддийском дацане. С матерью разошлись. У матери – полные карманы денег; она везет ее в Москву – к знаменитому режиссеру Михайлову: чтобы девочка снялась у него в фильме, – нанимает учителя-художника: девочка отлично рисует, надо научиться хорошо рисовать. Об убийстве Михайлова наслышана вся страна. Его убили из винтовки с оптическим прицелом, когда он, с цыганами, отмечал премьеру нового фильма. Ее, юную любовницу старого режиссера, выгоняют с дачи, где они жили оба: она – никто, они не зарегистрированы. Она становится бордельной девкой в знаменитом подпольном московском борделе госпожи Фэнь. Человека, которого она любила, убила ее мать.

Мать сажают в тюрьму. Она одна. От потрясений – внезапно наступившая слепота. Плача в одиночестве, кричит: есть ли ты, Бог?! Соседка, сердобольно помогающая ей, уговорила ее принять святое крещение. Она крестилась, поменяв имя, в Новодевичьем монастыре. Ее крестил отец Амвросий, в миру Николай Глазов, опальный иеромонах. За отцом Амвросием установлена слежка – уж слишком еретичен, слишком любит то, чего любить православному священнику никак нельзя. И верно следили. Да не уследили. Заманил к себе домой отец Амвросий двух мальчишек, подловив их в метро, да и изнасиловал по-содомски, страшно. Его нашли, судили – обоим мальчикам удалось убежать и показать на него. Она все время, пока Амвросий был в тюрьме, жила в его квартире, научилась передвигаться без посторонней помощи, даже выходила одна, без провожатых, за хлебом и молоком, нащупывая дорогу узенькой палочкой. Отец Амвросий вернулся из тюрьмы без бороды и усов, бритый, наглый, злой и веселый. Он сказал ей: «Ждала? Ты моя подстилка. Ты моя тряпка, и об тебя я буду вытирать ноги. Истинные христиане всегда были мученики». И засмеялся – остро, зло, оборвал смех.

Амвросий стал читать проповеди. Его проповеди Нового Великого Времени, Нового Русского Порядка, сопротивления антихристу собирали кое-какой народец на площадях и в парках. Его хватали прямо с проповедей и увозили в «обезьянник» еще пару раз, отпускали – не было состава преступления. Он допоздна, иной раз до утра, писал что-то в больших толстых тетрадах – и опубликовал потом свои каракули в одном падком на сладости скандала издательстве под названием «Житие священника в тюрьме». Она не видела, как он пишет; слышала, как шуршала ручка по бумаге. «Если бы не была слепая – перепечатала бы мне все!» Она помнит этот крик.

Не так прост был отец Амвросий. Он не растерял церковные нити, хватал их за болтающиеся в воздухе концы. Так, по ниточкам, по веревочным лестницам, он долез до верхушек Русской Православной Церкви, упрямил, чтобы пересмотрели его осуждение и отлучение, где-то добыл темных денег, кого-то подкупил – и ему вернули приход, правда, не в Новодевичьем монастыре, а затолкали в сельскую церковь, далеко под Москвой, в сторону Нижнего Новгорода, на север от Петушков. Он и ее с собой взял туда: «Ну что, поиграешь в попадью?!» Она молчала.

Она все время молчала.

Почти все время.

Одна из ее самых любимых ненаписанных картин так и называлась – «Молчание».

Она молчала и тогда, когда он объявил ей: «Едем в Святую Землю, собирайся, сложи в мешок все свои трусики наощупь». Мартовское Шереметьево, вьюга в лицо. Ей казалось – она видела самолет, так грозно, объемно он гудел. Отец Амвросий крепко держал ее под локоть. «Улыбайся, – шипел он ей в ухо, – улыбайся шире, на нас все смотрят». Она вспомнила себя и

Михайлова на премьерe фильма, где ее отсняли в главной роли. Как широко – как акула всей пастью – она тогда улыбалась!

Ее поразила жара. Жара обрушилась сверху. Ливень жары. Амвросий сам надел ей на ноги легкие античные босоножки. Храм Гроба Господня дохнул темнотой и прохладой. Они отстояли здесь вечернюю службу. Наступила ночь. «А почему мы не уходим отсюда?» – спросила она, жалобно обернув к нему слепое лицо. «Дура, это же Пасхальная ночь».

Ну да, они же были паломники, они ради этой Пасхальной ночи и приехали сюда, всю жизнь скитались – и пришли! Толпа волновалась. Тишина была чревата взрывом. Люди жаллись друг к другу, бормотали невнятицу. Умолкали. Она ничего не видела, только слышала разноречивый говор. Амвросий стоял рядом, она чувствовала его. Он весь был как натянутая струна. Или тетива. Духота сгущалась. Она задыхалась. Тьма обнимала ее. Вечная тьма. По щекам текли, медленно сползали слезы. Слышался шепот: «Скоро, скоро... сейчас, сейчас!..» Чего все ждут, скорбно спросила она. Чего мы ждем? И Амвросий ответил сердито и презрительно: «Чуда. Все ждут чуда. И чудо свершится».

И, когда из всех грудей вырвался вопль восторга, она испугалась – так же, как тогда, когда на Москва-реке, в цыганской лодке, подстрелили Михайлова и из всех глоток вырвался вопль ужаса.

«Свет, свет! – кричали все в толпе. – Вот оно, чудо Господне!» Она слышала треск, будто от горящего хвороста. Она чувствовала жар, движение теплого воздуха, запах ладана, запах смолы. Она почувствовала, как застывший в напряжении, ледяной Амвросий становится мягким и живым, смеется, оборачивает к ней лицо: «Господень свет! Он зажег нам его!» Она стояла как истукан. О каком свете они говорят? Пасхальный свет, голубой свет... Он сам зажигается, сам... Нет, нет, Бог зажигает...

Они все видели его. Православные видели. Турки видели. Иудеи видели. Католики видели. Узкоглазые и желтолицые китайцы видели. Все видели горный свет Господень, каждую Пасхальную ночь возгорающийся в храме Гроба Господня – синие потоки, голубой огонь, слепящие шарики холодного пламени, что можно брать руками, погружать в него лицо, целовать его, как целуют губы, – она одна не видела свет.

Ночами в отеле, в тесном и душном номере, распахнув настежь окно, Амвросий читал ей из маленькой книжки. Она слушала, потом засыпала, он продолжал бормотать, читая. Сквозь сон она слышала: синий священный сапфир, синий цвет, последний цвет надежды, крест, крест осеняет мир, крест – высшая награда за муку... Она слышала, как Амвросий быстро, невнятно бормочет, уже не из книжки, уже – сам по себе: под крестом объединятся Восток и Запад, если они не хотят умереть, конечно... все народы, кто примет веру Белой Расы... Белая Раса – священна... все остальные – ее слуги... восставшие против Белой Расы да погибнут...

Она спала, как лошадь, с открытыми глазами, и в ее прозрачных черных глазах стояли слезы.

Свет, голубой свет.

Голубой свет свечи.

Чек видел раскосую девушку со светом в руке. Она его – не видела.

До крещения ее звали – Дарима.

При крещении ей дали имя – Дарья.

ПРОВАЛ

Белый песок. Черно-синяя вода.

Мертвое море.

Песок обжигает голый живот. Мужчина подползает по песку ближе к ней, запускает руку, всю облепленную песком, ей между ног. Они оба голые. Они оба стонут, вбирая, всасывая

губы друг друга; потом – внезапно – отталкивают друг друга от себя, словно обжегшись о загорелую потную кожу. Он видит, как она загорела. Она – не видит, как загорел он.

Она трогает губами пальцы, будто заклиная себя: молчи. Он видит, как она грациозно садится на песке, забирая распустившиеся волосы в пучок на затылке, и ее обнаженная красная живая раковина внизу живота слегка приоткрывается. Он не сводит с красной раковины глаз. Она чувствует его взгляд, сдвигает ноги. Белый песок ослепительно сверкает на солнце, как белый снег там, у них, на их родине, далеко отсюда.

«Ты знаешь, дура моя, что твои монголы обожествляли знак „сувастик“? Свастика – тоже крест. Все на свете под крестом. Видишь, – он подполз к ней снова, – я ложусь на тебя крест-накрест». Он внезапно встал и ринулся на нее, как ястреб. Повалил ее на песок. Лег на нее, вонзил себя в нее, покорно поддавшуюся, раздвинувшую ноги молча, как служанка – господину: бери. Потом, подождав, пока биение крови не уймется немного, повернулся на ней – так, что их тела, если поглядеть на них сверху, образовали живой крест.

Так лежал на ней, прижимая ее животом к песку. Она молчала. Не двигалась. Не шевелилась. Он зло повернулся на ней так, что его ноги воткнулись в песок около ее плеч, подхватил ее руками под ягодицы, задвигался в ней бурно и мощно. Когда последние судороги утихли, он внезапно взял руками ее ступню, повернул к себе, поцеловал ее пятку. Она молчала.

«Как мы сюда попали?» Он, лежа на песке, распластавшись, как мертвая рыба, отдыхая и забывшись, вздрогнул от звука ее голоса. «Как? За деньги. Я купил билеты, и мы полетели». Она опять помолчала. Молчала долго. Береговой ветер взывал песчинки, сыпал ей в волосы. Черное на белом. Черные косы – на белом песке. Жаль, что она не видит своей красоты. Зачем женщине зеркало? Оно смущает и развращает ее. Зеркало – наваждение дьявола. Мужчина – вот зеркало женщины.

«Я понимаю, что за деньги. За твои?» Черная птица кружила над ними в вышине, страшно высоко, выглядела отсюда, с земли, как буква «Т». Тау, распятие. Римляне делали распятие в виде буквы тау. «Много будешь знать – еще и оглохнешь». Он никогда не лез за словом в карман.

Черно-синяя вода не кольхалась. Полный итиль. И песок во рту, песок на зубах.

Где они, что с ними?

Белое жаркое небо падает, падает на них. Ястреб кружит над ними. То, что они оказались в жизни вместе, это не любовь. Видит Бог, не любовь.

Бог видит все? Скажи, Бог, Ты все видишь или нет?

Дарья не знала, зачем Амвросий поехал в Израиль. Она никогда не докучала ему распросами. Надо будет – сам расскажет. Он не рассказывал. Однажды вечером, грызя финики, пробормотал: ты знаешь, что здесь, в Иерусалиме, строят Храм Второго Пришествия? Мощный собор возводят, может, и правда Страшный Суд скоро?

... ..

– Эгей, Витас, кисточку мне вон ту... что у тебя в руках... ну да, эту... на секунду брось!

– Брошу, да не попаду! Или попаду тебе в башку, медведь!..

– Кидай, не ошибешься!

Под куполом храма Христа Спасителя висели в люльках, раскачивались художники. Просили друг у друга то кисточку, то банку с краской. Шутили. Ругались. Молчали, сцепив зубы. Дышали тяжело. Работали. Пот с них тек градом.

Тяжело это – корячиться в тесной деревянной люльке, прицепленной к металлическим лесам, высоко под потолком, черт знает где, свалишься – костей не соберешь. Тяжко быть художником-монументалистом. Реставратором церквей – не легче. Заработок хороший, гос-

пода! Настоятель им золотые горы пообещал, если договор не нарушит! И молоко за вредность пусть наливает – не ровен час, сорвешься с высоты...

– Что там молоко – водки пусть сразу наливает, водки!..

– Мы с тобой, дружище, водочки сегодня ой как тяпнем, ой как вмажем... после трудов праведных... Слушай, а тебе не кажется, ты, косорылый, что ты вон там, справа, не туда руку у этого, у пророка Моисея, к чертям загвоздил?! Ну не туда у тебя рука пошла! Это не ракурс, а... сказал бы я! Мне-то отсюда лучше видно, чем тебе! Откатись в люльке – и глянь! Н что, я не прав?!

Тот, кого невежливо поименовали «косорылым», скрючился в деревянной люльке лицом кверху; большие ноги художника нелепо торчали в стороны, ремни, на которых он висел, натянулись – мужчина был высок и массивен, ему нужна была не люлька, а платформа, чтобы писать фреску. Он огрызнулся на говорившего:

– Что треплешься! Работай лучше над своим фрагментом! В мой – не лезь!

Отер потный лоб ладонью. Зажал в руке палитру и кисти. Под скрюченными ногами, на дне лодки-люльки, лежали банки с красками и ворох тюбиков. Беспокойный этот Илюшка, то ему кисточку, то красочку подай, то еще руку не ту у Моисея углядел – вот банный лист! Приклеился, и все!

Хмурясь, он все-таки отъехал в подвижной люльке от фрески и оглядел ее со стороны, придирчиво, прислонив ладонь ко лбу. Н-да, не Микеланджело. А что? Лучше? Нет, я не Байрон, я другой. Он мазнул кистью по палитре, потом по стене. Рука Моисея, ее мучительно вывернутое запястье окрасились красным цветом. Заходящее солнце там, на фреске, все красило в красный цвет. А недурно намазюкано, право слово. Витас Сафонов сделал это. Мастер Нестор сделал это. И зашвырнул кисть – или там топор – или молот – или палитру – в реку, в озеро, в море, в космос. Чтобы никто более не сделал так.

Если бы он жил во времена Иоанна Грозного – ему бы наверняка выкололи глаза на Красной площади. Руки по локоть обрубил на Лобном месте. Это уж как пить дать.

Нет, кроме шуток, отличная подработка. Если они сделают фреску вовремя – у него будет возможность капитально отдохнуть и полететь наконец-то в Рим, к своей девочке. К своей последней девочке, Зине Серафимович. Зина, Зинуля, первое место на конкурсе красоты «Мисс Россия», приглашение работать с лучшими модельерами Европы, сниматься в фильмах. Зина – топ-модель, браво, у него в жизни еще не было топ-моделей. Ой ли? Врешь ты сам себе, Витас Сафонов, врешь, суслик. Были у тебя и топ-модели. И фотомодели. И модельерши. И натурщицы. И простые шлюшки с бульваров. И модные барыни в норковых шубах, жены крутых бизнесменов. И девчонки с вокзалов. И знаменитые актрисы, что, раздевшись, стонали, бесстыдно раскидывались перед ним в постели: «Возьми меня! Возьми меня необычно! Чтобы я запомнила!.. Ах!.. Чтобы я запомнила ночь с Витасом!..»

Знаменитый Витас Сафонов, живописная звезда, хватит пялиться на фреску, в глазах зарябит. Трудоголик Илюшка может висеть в люльке хоть ночь напролет. Это его дело.

Домой?!

Уж лучше висеть здесь, под куполом, с занудой Илюшкой, чем – домой.

Давай работай, работай, Витас, здесь мазок, там другой... Работай...

Домой – не надо... Не надо – домой...

Домой ему все равно пришлось когда-нибудь идти.

Он слез с лесов. Вымыл руки. Переоделся. Илюшка еще висел в высоте, пьяный от работы, запаха разбавителя и вдохновения. Витас накинул макинтош, проверил, на месте ли деньги в кармане, и вышел в ночь и снег.

Машина стояла, ждала у храма. Его лошадка. Черная лошадка. Черный гладкий, блестящий «мерс». Он сел, стронулся с места, вырулил на Волхонку.

Крутя руль, глядя прямо перед собой, он не помнил, не видел, не слышал ничего. Он с трудом останавливал машину на красный свет. Он не помнил, как доехал. Спасала только работа. Когда он переставал работать, ЭТО снова наваливалось на него и погребало его под собой. У него перед глазами все время стояло ЭТО.

Дом. Ночь. Холодильник. Водка. Ветчина. Еще рюмка. Еще. Не помогает. Спасает только фреска. Ну не малевать же все время. Деньги? Ни к чему. У него их и так много. Нужно иное зелье. Не водка. Хотя и водка хороша. Еще. Еще.

Он не пьянел. Это был плохой признак. Колеса! Нужны колеса. Он схватил пачку таблеток, высыпал себе на ладонь то, что осталось. Негусто. Но этого хватит, чтобы утонуть в забвении. Крепок он, силен, ничто его не берет, и, что самое страшное, он ко всему этому привык, к зелью, к колесам, к куреву, к табаку и травкам, хорошо еще, на иглу не подсел, но скоро, о, скоро подсядет. Он слишком близок к игле. Все слишком страшно. Спасенья нет. Боже, пошли мне спасенье! Дьявол, сатана, Люцифер, Вельзевул, пошли мне спасенье! Кто угодно, пошли мне спасенье!

Слишком мучительно. Слишком близко.

ЭТО было слишком близко. ЭТО было рядом.

Наконец его сдавили, сломали корчи невероятной тошноты. Он согнулся, дернулся, и его вырвало прямо на свеженатянутый, загрунтованный для работы холст, стоявший на одном из мольбертов. У него была великолепная мастерская на Воробьевых горах, но он и дома работал, благо квартира была необъятная, в его хате в новом доме-«свечке» на Большой Никитской можно было заблудиться с непривычки: шутка ли, тринадцать комнат! Почему тринадцать, спрашивали его друзья-приятели, что за чертова дюжина?.. шутишь, старик, а?.. «Потому что я Тринадцатый апостол», – мило улыбаясь, отвечал он, и все сразу замолкали, глядя на его остановившуюся, будто вросшую в лицо, страшную улыбку.

Черт, все колеса к лешему вытошнило. Все начинай сначала. Он замер перед зеркалом. Он был слишком хорош собою, художник Сафонов: густые русые волосы до плеч, как у всех гениев, густая рыже-русовая борода – литовский князь, да и только, короны золотой на лбу не хватает, – широко стоящие большие серые глаза, тщательно подстриженные усы над чувственным, красиво вылепленным ртом. Девки и бабы от него просто дохли, валились к его ногам штабелями. Как это все ему надоело, Господи. С мокрой бороды капали капли воды – он подставлял голову в ванной под холодную струю. Господи, отпусти. Господи, ну не мучь Ты его больше!

Он рухнул на кровать. Смял в кулаке розовое атласное одеяло. Корчи снова скрутили его. Дьявол! Ну чистый синдром абстиненции. Но он же не наркоман! Он же не наркоман, чтобы испытывать такую чертову ломку! Или он – уже – абсолютно готовый – наркоман своего вечного ужаса? И он готов прокручивать ТУ страшную пленку в голове еще раз, сто раз, тысячу раз, чтобы вновь и вновь испытывать ужас – и, как древний герой, бороться с ним?!

Ты не герой. О Витас, ты не герой. Ты слюняй. Ты хорошо зарабатывающий салонной живописью слюняй. И тебя все равно найдут. Найдут и убьют. Уж в этом-то будь уверен.

Пот лил с него градом. На время ужас отодвигали нехорошие забавы. По всей Москве ходили слухи: Витас Сафонов – сексуальный извращенец, педофил, эротоман, нимфоман, любитель крутой групповухи и Бог знает чего такого, чему нет имени в человеческом словаре. Да! Да, все это правда. Да, он перепробовал и то, и другое, и третье. Чего он только не перепробовал – и с бабами, и с мужиками. Все приелось. Чтобы отодвигать возвращающийся ужас, он писал на огромных холстах чудовищных, голых баб, сходя с ума, страшно скалясь, смеясь, рисуя беднягам по восемь грудей, громадные, вывернутые на зрителя красные вагины, раздвигая им нарисованные ноги, как ножницы, до отказа, проводя длинные темно-багровые извилистые линии – не жалей, скупердяй, кадмия красного! – по торчащим грудям, по белым сугробам животов, по впалым щекам. Кровь, это по холстам, по голым женским телам текла

масляная кровь, а он чертил кисточкой извилистую жуткую линию, закидывал голову, хохотал истерически, падал перед холстом на колени, протягивал к изуродованной натуре руки: гляди, я гений! Я изобразил твою сущность! Твою суть, женщина! Ты – такая! Тебя только рядили все века глупцы мужчины в рюши и кружева! Сюсюкали над тобой! А ты – такая! И только такая! Дьявол – ведь это баба, как никто раньше не догадался!..

Его друг Валера Праводелов, у которого была мастерская на Старом Арбате, говорил ему, когда Витас пытался пожаловаться ему на жизнь: «Что хнычешь, дружище? Наши грехи – в нас самих! Хочешь избавиться от них – да, возьми кисть и нарисуй их! Но это полдела. Ты должен не просто отринуть их, а изобразить их так сильно, так ясно показать людям, чтобы люди испугались и сказали: да, это грех! Мы никогда так не сделаем, ибо это страшно! Ты готов к такой живописи?.. Нет?.. Тогда, парень, малюй свои ню. Крась „нюшек“! Зарабатывай! Продавайся в модных галереях! Ты же до сих пор это делал с успехом...» Праводелов стоял у мольберта в черной рясе, и Витас сначала не понял ничего. А потом узнал: Валерий рукоположился, принял сан. Праводелов – завтра уже святой... а он?..

Где святость? Где грех? Зачем – жить? Чтобы продать завтра за тридцать тысяч долларов изящную сексуальную картинку в галерее «Ars eterna», изображающую, как смуглый юноша обнимает белокожую девушку, а золотые волосы девушки взвиваются за ее спиной, клубятся, летят, обнимая весь холст? Юноша с эрегированным членом, девушка, еще сжимающая кокетливые ноги, но уже готовая их расставить, чтобы принять мужскую плоть. Масса лессировок, множество изящных живописных приемчиков, уже испытанных, нравится публике – верняк. Он всегда попадал в «яблочко» потребности. Он сам себе был классный менеджер и маркетолог. Такое – купят, с руками оторвут! И обязательно золотом, легкой позолотой по взвихренным волосам пройтись. И назвать работу – как можно красивее: например, «Рождение ветра». Или: «Начало страсти». Господи, как же он умел всегда делать красивые вещи! Как он нравился! Как он бешено покупался! Это ли не счастье художника? А ты опять спрашиваешь себя, ты, идиот, – зачем жить!

ЗАЧЕМ ЖИТЬ, ЕСЛИ ТОТ УЖАС ВСЕГДА ПЕРЕД НИМ.

Он рванул прочь от зеркала. Чуть не врезался лбом в косяк. Ну что, прибегнем к испытанному средству – коньячку?! Есть, есть у него отличный коньячок в баре, прямо скажем, отменный. Привезенный из самого что ни на есть французского града под названием Коньяк. Эх, пописал он там этюдики... оттянулся. Завалился туда после выставки в галерее Друо, где – везуну Витасу удача не изменила! – продал все, привезенное из Москвы, до последнего холста. Галерист был доволен, аж замаслился. «Хочу показать вас в Америке, в лучших американских галереях, в музее Гуггенхайма!» А он, напившись с друзьями-художниками, эмигрантами и французятами, в отеле «Савой» до положения риз, отоспавшись, ломанулся в провинцию. Французская провинция, это вам, батеньки, не хухры-мухры! Солнце, какое солнце... Юг... Гроздь винограда сорта «Русанна» свешиваются через разрушенные античные каменные ограды... На рынках вино наливают из бочек, отворачивают краники... Свинью жарят на вертеле – прямо у дороги... И эти лошади, лошади, лошади, изумительные камаргские лошади, бешеные, грациозные, как женщины, с косящими прелестными глазами и пышными хвостами, с сухими хрупкими бабками, с гривами, которые хочется целовать, и эти белые быки Прованса, эта жестокая коррида Тараскона, Нима, Арля – прямо в античных амфитеатрах... Он оказался в Коньяке – и застрял там. Он переписал, перенес на холсты и картонки за полмесяца весь Коньяк, всех его жителей, всех его виноделов и весь виноград на праздниках вина. И приволок оттуда в Москву не две бутылки спиртного, как то положено было правилами Аэрофлота, а целых пять: три провез нелегально. Ну, а если бы обнаружили контрабанду? Попробовали бы только прицепиться к VIP-персоне Сафонову! Международный скандал!

Так-так... Коньяк... Он выпьет и забудет все. Он выпьет и представит себе роскошное солнце южной Франции. Солнце бьет ему в лицо, он блаженно жмурится, как кот. Он выпьет – и...

Рука с бутылкой застыла в воздухе, дрогнула, и пахучая струя коньяка пролилась мимо бокала. В дверь позвонили.

Он кинул взгляд на часы. Двенадцать ночи. Если точнее – четверть первого.

Он никого не ждет сегодня. Сейчас. В этот час. Никого.

Кто-то из баб?! Нет. Никого не звал. Кто мог самовольно явиться? Зоя? Алла? Мурзик? Нет, Мурзик на такое не способна. Мурзик гордячка. Она будет ждать, пока ее не позовут. Ида?.. Да, может быть, Аида... Какая ей шлея под хвост попала, Аиде... Перепихнуться на ночь глядя захотелось... Черт, он же имеет право на отдых, просто на спанье, на сосредоточенность, на стояние у мольберта... на личную жизнь... или и в двенадцать к нему прутся оголтелые папарацци?!.. «Как вам отдыхается, многоуважаемый Витас?.. Спится?.. Не спится?..» Да, как поется в одном рок-тексте, – как бы воистину не спиться... от жизни такой...

Он громко брякнул бутылкой коньяка о столешницу. Пошел открывать.

На миг перед закрытой дверью его объял дикий страх. А ВДРУГ ЭТО...

Он отогнал безумье. Привычки спрашивать, как старая старушка: «Кто там?..» – он не имел, слава Богу. Он же все-таки был мужчина. Он повернул вправо-влево бирюльки замка и рванул дверь на себя.

За дверью стояли двое в черном.

Он сначала не понял. Во тьме подъезда странно, бело-призрачно светились, как у инопланетян, их головы.

Потом до него дошло: бритые.

Двое бритых. Двое бритоголовых. В черных кожаных куртках. Из-под курток – черные рубахи.

Он отшатнулся. Двое быстро шагнули на него. Втолкнули его в прихожую.

Он пятился. Они наступали. Тот, что был пониже ростом, захлопнул за собой дверь.

Все. Он в мышеловке. Мышеловка – его собственная квартира.

Не зря он глотал колеса, как сумасшедший. ЭТО возвращается. Нет, он сейчас проснется. Эти двое лысых ему снятся. Снятся! Снятся!

Реальный, живой бритый мужик разжал губы. На Сафонова пахло запахом хорошего одеколona. Он втянул воздух ноздрями. «Hugo Boss». Недурно.

– Господин Витас Сафонов?

Он не мог говорить. Кивнул головой.

– Мы по вашу душу. Сесть пригласите?

До чего вежливы, подумал он с издевкой, до чего галантны. Будто и не бандиты вовсе. «А может, они не бандиты? А кто же, кто же, кто?! Морды у них – точно киллерские... Дурак, если бы тебя хотели убить – уже давно бы убили, едва ты открыл дверь... Тихо, Витас, тихо, веди себя прилично, слушай, что скажут...»

– Садитесь. – У него рот повело вбок, как при тике. Улыбка не получилась. – Чем обязан?

Лысые сели. Тот, что был ростом повыше, вальяжно закинул ногу за ногу, озирая обстановку, шкафы, мольберты, начатый холст на мольберте, картины на стенах. Остро пахло разбавителем, свежей масляной краской. Лысый мужик воззрился на картину напротив. Витас видел – она его шокировала.

– Фью-у-у-у! – присвистнул он. – Вон мы чем на досуге занимаемся. Ай-яй-яй, нехорошо, дяденька, малевать такую похабщину. – Он кивнул на громадное полотно, занявшее полстены над камином. На искусно прописанном, тщательно пролессированном холсте худая белокожая женщина на фоне красного ковра, раскинув ноги и задрав в крике наслаждения

голову, мастурбировала, втыкая в себя черный деревянный олисбос. – В аду гореть будешь. Или ты не русский человек?

– Мы, кажется, еще не пили на брудершафт. – Так, хорошо, голосок окреп, не дрожит. – Я по матери литовец.

– По матери, по матушке, – хохотнул второй, тот, что пониже росточком, антикварный венский стул под ним противно скрипнул. – Вниз по матушке по Волге!.. Ближе к телу, как говорил Ги де Мопассан.

– Я слушаю.

Он увидел себя в створках зеркала-складня. Он был очень бледен. Лысый мужик сперва поглядел на коньяк в бокале, на бутылку, на лужицу коньяка на столе, потом – в лицо Витасу.

– Ладно, на брудершафт потом. Извините. Забылись. Мы пришли сделать вам заказ, господин Сафонов.

– Заказ? – Во рту у него пересохло. Он и впрямь мучительно, до сосанья под ложечкой, захотел хлебнуть коньяка. – Какой заказ?

Почему они не убивают его сразу. Немедленно. Сейчас. Ведь это же так просто – вытащить пушку из кармана, направить прямо в лицо. И разmozжить череп в хлам. Чтобы кровавые куски полетели на стены, на холсты, на зеркала. Новая живопись. Натуральная живопись. Шматки кадмия красного. Ошметки живого краплака. Искусствоведы будут говорить, закатывая глаза: «Последние картины Витаса Сафонова написаны в полном смысле слова кровью».

Тот, кто пониже, ухмыльнулся. Скинул ремень черной большой, как мешок, сумки с плеча. Черную сумку Витас, испуганный, потрясенный, не заметил.

Лысый дернул «молнию». Распахнул сумку. Вытащил огромный целлофановый пакет. Сквозь прозрачный целлофан было хорошо видно, что пакет весь, сверху донизу, набит пачками долларов. Лысый шмякнул пакет на стол орехового дерева с инкрустацией полудрагоценными камнями – яшмой, нефритом, сердоликом. Витас купил этот стол на аукционе в Бельгии, в Брюсселе. Еле провез через границу. «Это стол моей бабушки, – разводил он руками перед таможенниками, – у меня бабушка в Бельгии, в Антверпене живет, милая такая старушка, понимаете?.. Единственная память о предках нашего рода...» Всхлипнуть, главное, – правдоподобно...

Витас глядел. Он глядел – и не видел. Глядел – и не понимал. Так, отупело, соображая, что к чему, он когда-то, желторотым пацаном, впервые глядел жестокое порно. Он никогда в жизни не видывал столько денег наличными.

«Что это? Розыгрыш? Это фальшивки? Меня берут на пушку? Или это все-таки сон, сон, сон, бред?! Что я должен делать? Что я должен СДЕЛАТЬ за эти деньги?!»

– Я не раб, – сказал он, выдавив эти слова из наждачно-жесткого горла, как масляную краску из засохшего тюбика, и посмотрел поверх бритых яйцевидных голов. – Если речь идет о насилии...

– ...то вы не продаетесь. И не покупаетесь, я правильно понял? – Высокий усмехнулся. Витаса покорило. – Вы не раб, мы вас не насилуем, не покупаем, мы вас – нанимаем. Мне кажется, это вполне приемлемые деньги для художника... такого ранга, каким являетесь вы.

– Так, так. – Он тряхнул головой. Длинные волосы взвились, опали на плечи. – Значит, нанимаете. И что же я... хм... за эту сумму... простите, сколько здесь?.. должен буду нарисовать? Голую задницу? Политическую картинку? Двух лесбиянок в разгаре коитуса? Землю, разрезанную надвое, как яблоко?! Обезображенных жертв Холокоста?! Бабу в родах?! Что?!

«Так. Верно. Еще веселее. Ты взял правильный тон, старик».

Он осмелел и уже издевался над ними. Он старался не смотреть на прозрачный мешок, набитый деньгами, лежащий перед ним на инкрустированном яшмой бельгийском столе.

– Мы заказываем вам фреску. Мощную фреску. Ничего подобного не было ни в каких веках до нас и, рассчитываем, еще долго не будет после нас. Надо сделать так, чтобы такого больше никогда на Земле не было.

– Сюжет фрески?

Он уже перешел на профессиональный тон. Ни улыбочек, ни издевок. Вопросы по существу.

– Второе Пришествие.

– Где надо писать фреску? В храме?

– Да. В храме. Этот храм уже строится. В него вложены большие деньги.

– Деньги, вот эти, – он кивнул на целлофановый мешок, – от тех же людей?

– Да.

– Где находится строящийся храм?

– Сказать? – Высокий кинул взгляд на низкорослого.

– Скажи. Что таиться. Бестолковое дело. Он же все равно туда скоро полетит.

– В Иерусалиме.

– Черт, в горячей точке, – Витас поморщился. – Неплохенькое местечко, конечно, но – такая каша вероисповеданий! Мусульмане, евреи... православные... храм на храме, и каждый свою веру хвалит, за свою – глотку перегрызет... И вы туда же! Вы... – «О чем ты. Ведь не эти же гололобые щенки строят собор. Они – исполнители, запомни. Их дело – припугнуть меня, нанять меня, передать мне деньги. И баста!» – Какой вы веры-то, ребята? А?! Судя по заказываемому вашими шефами сюжету – христиане, я так понял?

Высокий набычил лысую голову.

– Вы православный?

– Да.

– Хотя вполне бы могли быть католиком, если – литовец.

– Мать умерла давно. Она не крестила меня ни в младенчестве, ни в отрочестве. Не те годы тогда были. Я принял крещение уже взрослым. Осознанно.

– Ясно. Значит, вы поймете. – Высокий встал, венский стул жалобно простонал под могучим, крепко сбитым телом. – Он придет скоро. Возможно, мы с вами явимся свидетелями Его прихода. Он придет в блеске и славе своей. Не так, как тогда. А мы... Мы лишь ускорим Его приход. Понятно?

Встал и низкорослый. Черная кожа куртки противно скрипнула. Они оба, не прощаясь, повернулись на каблуках, пошагали к двери. Не оглянулись.

Замки отлетели прочь. Резко, оглушительно хлопнула дверь, чуть не сорвавшись с петель. Витас так и остался сидеть в комнате. Ни договора. Ни печатей. Ни подписей. Ни контрактов. Ни ручательств. Ни расписок. Ничего.

Только вся сумма – весь его гонорар – все деньги, положенные ему за его работу, еще не сделанную, еще тающую в дымке времени, как тает между пальцев дымок сигареты, – перед ним, на столе, на гладкой столешнице с яшмовым деревом и малахитовым озером.

... ..

Ефим хотел забыться.

Ефим хотел нырнуть в пропасть безоглядной чувственности. В омут постыдной и черной страсти, которой он, может быть, и не испытывал, но которую именно сегодня ему невероятно хотелось испытать.

Он заставлял Цэцэг проделывать такие штучки, которые ей и не снились там, давным-давно, в «Фудзи». Ноги выше головы? Пожалуйста, но разве это так удивительно? Это не страсть. Господи, страсть – ведь это тогда, когда срываются все покровы внутри тебя, не

снаружи. Тело только иллюстрирует, рисует внутреннее дьявольское обнажение. Я срываю все покровы. С тебя. С себя. Я делаю, что хочу. И, обнажив себя до конца, я смеюсь над собой – и делаю то, чего не хочу. Ибо я хочу испытать то, чего не испытывал никогда.

Она взяла его ногу, поставила себе на грудь. «Дави, – шепнула. – Сильнее». Я раздавлю тебя, ты же такая нежная. Не бойся. Прогнувшись под ним, она застонала; его ступня заскользила по ее потной груди, по животу, она раскинула ноги, открывая красные створы; большой палец его ноги скользнул внутрь нее, губы нашли ее губы, и зубы больно укусили сложенный трубочкой рот. Она, не отрывая рта от его губ, выставила вперед груди, и его пальцы, найдя торчащие темные соски, больно сжали их, вонзили в них ногти. Так?! Я же так не хочу. И хочу. Тебе же так больно. И все равно ты так хочешь. Покажи мне изощренный восточный секс, ты, продажная Цэцэг, самая лучшая шлюха в мире.

Она встала на колени в постели, высоко подняв зад. Он провел языком вдоль по ее хребту, осязая позвонки, ощущая на губах вкус соленой смуглой кожи. Ее пот пах розами. Она любила роскошь и сама была роскошью. А он сегодня, сжигаемый жаждой – забыться, окунуться в иной мир, топтал эту роскошь ногами, бил наотмашь, приковывал цепями и наручниками к спинке кровати, истязал, шептал: покажи мне еще что-нибудь. Потряси меня! Научи меня! Ты, ученая, ты, дикая...

Лежа под ней, выплясывающей на нем отчаянные па любовного танца, он скользил глазами по стенам. Неплохо оформила спальню монгольская красotka. За такой коврик, с вытканными Венерой и Адонисом в гроте, она наверняка отвалила на Кристи черт знает сколько. Ведь это же гобелен шестнадцатого века... судя по колориту, нежно-дымчатому, голубовато-холодному, французский. Эпоха Генриха Второго, Дианы де Пуатье... Венера наклонилась над восставшей плотью Адониса, едва не касаясь ее губами, хитро улыбаясь. А это что? Новогодняя маска?.. Черная с золотом?.. Ну да, какая-нибудь китайская маска древнего чудища, вон и козлиные рога, книзу закручены... Он перевел взгляд. Цэцэг подпрыгнула сильнее, резче. Она хотела сделать ему больно. Он, держа ее обеими руками за талию, ощущая под ладонями мокрое скользкое тело, смотрел уже на другой сюжет. А это китайщина, родной ей Восток. Лысый, с седой паклей жиденьких волосенок вокруг уродливой головы-тыквы, смешной старикан – ого, однако, а уд какой огромный, торчит, темный, как у осла, – задрал девчонке, видимо, служанке расшитый хризантемами халат аж до самой шеи, пытаюсь овладеть ею. На круглом лице служанки, с глазками-шелками, с черной челкой до бровей, было написано озорство и презрение. Да, она подставит себя хозяину. Но и выколотит из него монету! А то и собственный бумажный домик.

Цэцэг остановилась. Прекратила прыжки. Ефим по-прежнему глядел на китайскую гравюру. Он только что заметил на гравюре еще одного человека. Чья-то голова высывалась из-за приоткрытой двери. Мужская? Женская? Он бессознательно перевел взгляд на дверь спальни Цэцэг. Может, здесь за шторой, за гардиной, за китайской ширмой с птичками и розочками тоже есть Подглядывающий?

Елагин вздрогнул. Цэцэг возобновила свои танцы. Еще немного – и судорога невероятного наслаждения выгнула его в мгновенном столбняке. Цэцэг упала рядом с ним. В теплом воздухе спальни, пропитанном ароматами всевозможных парфюмов, запахло солью, горечью и морем.

Он по-прежнему смотрел на дверь. Цэцэг шутливо ударила его ребром ладони по плечу, имитируя движение каратэ-до.

– Люблю, как пахнет сперма. Она пахнет морем. Китайцы говорят: есть четыре священных жидкости – кровь, лимфа, слюна и сперма. Тот, кто научился задерживать сперму в себе во время любви, а не выбрызгивать ее, питает свой тысячелистый лотос Сахасрару.

– А моча, значит, не священная жидкость? – Против воли губы его поморщились в улыбке.

– Нет. Моча – это то, что должно уйти в землю. Кровь и лимфа текут в нас, это жидкости нашей жизни. Слюну мы глотаем даже друг у друга в поцелуе. Сладка слюна Суламифи для Соломона, помнишь?.. А из спермы рождаются дети. Она самая священная.

– И глотать ее ты тоже любишь?.. Не притворяешься?..

– Нет. – Она перевернулась на живот, внимательно смотрела на Ефима. – Я так скакала на тебе, как на коне, а ты все такой же бледный. Что с тобой? Что так уставился на дверь? Я же тебе говорю, это моя и только моя квартира. Сюда никто не придет. Никто! Никогда! Без звонка...

Ефим молчал. Цэцэг заботливо отерла струйку пота, стекающую с его виска. Быстро клюнула его в нос, как птичка.

– Птичка-синичка с китайской ширмы, – беззвучно шепнул он. – Тебе не кажется, что за нами кто-то подглядывает?

– Подглядывает?.. Какая чушь! – Цэцэг сладко, как кошка, потянулась, и все ее неостывшее от страсти тело завибрировало, задрожало в истоме. – Тебе везде мерещатся шпионы. Ты перетрудился, милый. Мне кажется, ты слишком много на себя берешь. Что-нибудь из твоих несчетных дел тебе надо бы бросить. Но только не меня! Не меня!

Она, в шутку, накинулась на него, как львица, понарошку терзала, рычала, трясла за плечи, неистово целовала. Потом отшвырнула, как истрепанную игрушку. Рухнула на подушки. Ему показалось: вот так она может отшвырнуть его и по-настоящему.

– Меня только что чуть не убили.

– Чуть не убили? – Узкий черный глаз ожег его насмешкой. – И ты все-таки приехал ко мне? Bravo. Что же ты не держишь в черном теле своих бодигардов? Они работают у тебя или нет? Или ты им только платишь деньги? Беспечно ты живешь, как я погляжу.

Она встала с постели. Подошла к огромному, во всю стену спальни, зеркалу. На зеркальных полочках в кошмаре женского веселого беспорядка лежали, валялись, сверкали флаконы и флакончики, щетки и расчески, жемчужные связки, агатовые ожерелья, брошки, коробочки с кремами, помады, тени, румяна, колечки, расписные шкатулки. Он, скосясь, смотрел, лежа на животе на кровати, на безумный натюрморт, на нее, беззастенчиво показывающую ему смуглый крепкий, округлый зад. Она загорала вся, целиком, на нудистских пляжах на Ривьере, на Майорке. Ни следа белых полосок ни от какого бикини.

Цэцэг поднялась перед зеркалом на цыпочки и закинула руки за затылок. Ее изжелта-коричневая, золотистая спина волнующе сужалась к бедрам. Смоляные волосы змеями ползли по лопаткам. Он вспомнил монгольскую пословицу: «Женщина – алмаз в кулаке: крепко сожмешь – изранит ладонь».

– Я купила нам с тобой билеты на завтра на представление японского театра кабуки. Мистерия «Восемь Ужасных», как тебе названьице? Фимка, да что ты такой квелый?! А ну-ка встряхнись! Приказываю тебе! Я, владычица тварей подземных и надземных, я, повелительница живых людей и адских духов...

Продолжая смеяться, она шагнула к стене. Сняла со стены то, что он принял за новогоднюю восточную маску. Быстро надела себе на голову, обернулась к нему, и Ефим ахнул от неожиданности.

Перед ним стояла монгольская принцесса. Дочь Чингисхана.

Глаза принцессы сияли. Голая смуглая грудь горделиво вздымалась. На черных курчавых волосах внизу живота еще блестели капельки влаги.

– Монгольский царский головной убор, мне из Улан-Батора в подарок прислали, Эрден-батыр вчера в посольстве передал, была презентация фильма Миши Горенко «Чингисхан». Повеселились.

– Фильм-то ничего?

– Не ничего, а что-то. Миша молодец. Он уцепил главное. Он показал разность цивилизаций. Мы никогда не поймем Восток. Восток никогда не поймет нас.

Она стояла перед ним голая, еще вся потная после соития, на голове у нее торчали, выгибаясь в стороны, крутые, будто турьи, рога, обтянутые черной плотной тканью, расшитой золотой нитью. Золотые стежки перевивали рога, они будто были обмотаны елочным золотым дождем.

– Горенко – твой любовник?

– У царицы всегда должно быть много фаворитов, ты же знаешь.

Раскосые глаза хохочут. Широкие скулы лоснятся. Румянец спускается со щек, красной рекой бежит по шее.

... ..

Идут. Опять идут.

Идут его бить.

Он сжался весь. Сжался в комок. Надо сжаться в комок, втянуть голову в плечи, согнуть шею, согнуть ноги в коленях, прижать колени к животу. Поза младенца в утробе матери. И так, сжавшись, лежать. Так они тебе хотя бы не отобьют печень. Почки – да, отобьют. Но хребет не сломают. Хребет ломают тогда, когда тебя растянут «ласточкой». Старая известная пытка. Ты для них – враг, падаль. Тебя все равно уничтожат. Но будут уничтожать медленно. Ибо это приносит им удовольствие.

– Эй ты, Косов! – Они все-таки выбили из него его имя и фамилию. – Будем говорить?!

Он поворачивается к ним на тюремной койке. В камере полумрак. Он не видит их лиц. Вместо лиц – серый туман. «Мое лицо для них тоже – туман. Они тоже не видят меня. Они никогда не выйдут на ребят. Я никогда не скажу им ни имена, ни адреса. Никогда. Я никогда не выдам Хайдера. Он слишком нужен всем нам. Я никогда не выдам Хирурга. Не выдам Алекса Люкса. Баскакова они и так знают, вся страна знает Баскакова. Взять Баскакова они все равно не могут – он не преступник. Для них преступники – мы, голь, мелкота, лысая чернота. Больших людей упечь в каталажку не так просто. Маленьких – пожалуйста. Большие дяди играют во взрывы и убийства, а ловят, судят и приговаривают малолеток. Так было всегда. Я ничего им не скажу». Он смотрит прямо перед собой в серую тьму застылым взглядом. Две острые льдины глаз. Два ледяных скола.

– Говорить будем?!

– Мы уже говорим.

– Андрей, давай! Сбрасывай его!

Он скорчился. Подобрал колени к подбородку. Его скинули с койки на холодный каменный пол. Удар сапогом. Еще удар. Он закрыл руками лицо. Пусть разбивают в кровь руки. Пусть переломают пальцы. Ему нужны глаза. Глаза и зубы. Он еще должен видеть, что случится с его миром.

Удар. Стон. Удар. Стон. Они перевернули его сапогами на спину. Он казался сам себе насекомым, защищающим хрупкое брюшко от железных шестеренок.

– Ты, гад! – Удар. – А как добивали цепями того, уже мертвого, на рынке, это ты помнишь?! – Удар. Стон. – А как тебя бьют – так это нехорошо, некрасиво, больно, ужасно?! Ах ты сволочь! Ну, ты у нас заговоришь! Не из таких показания выколачивали!

Отступили. Он отнял руки от лица. По разбитым опухшим, синим пальцам текла кровь. Он слизнул ее языком. Обернул к бьющим его лицо – и засмеялся.

– Ха, – сказал он. – Ха-ха. Ха-ха-ха. Предают только слабаки. Те, кого потом опускают. Вы можете убить меня, но вы меня не опустите. Вы сами дряни. Вы бьете меня, чтобы услужить

хозяину. У вас у всех есть хозяин. И он не погладит вас по головке, если вы не исполните его приказ. Все вы сявки, шавки. Все вы суки.

Человек в форме, с серым, невидимым во мраке ночной камеры – одно маленькое оконце под потолком – призрачным лицом снова сунулся к нему, поддал ему под ребра: на! На тебе за суку! Он застонал, перевернулся на полу на бок. Так лежал – спиной к ним.

– Вы работаете на хозяина. Вы рабы.

– Вы тоже рабы! У вас тоже есть хозяин! Он охмурил вас! Он задурил вас, щенкам, башки! Опьянил вас своей идеей! Идеей великой белой расы! Белая, видишь ли, высшая, а все остальные – мусор, выходит, так?!

– Да, мусор, – жестко сказал он, лежа на полу, не оборачиваясь к ним. – Вы сами увидите это. Вы все скоро увидите.

Они пытали и били его – он пытал и бил их. Они били его кулаками – он бил их словами. Жестами. Взглядами. Он бил их молчанием. Всем собой. Он вступил с ними в поединок.

Поединок – это всегда ответственно. Он может быть одноразовым, и тогда в поединке кто-то обязательно гибнет. Тогда в поединке сразу видны победитель и побежденный. А может растянуться на месяцы, на годы. Тогда выигрывает тот, кто овладевает временем.

Допросы измотали его. Он уже еле держался на ногах. Он был единственным, кого удалось поймать тогда, на рынке, в сумасшедшей бойне, в снежной тьме. Остальные skins разбежались кто куда, как тараканы, откатились за лари, за рыночную тару, попрятались под прилавки, унесли ноги. Он – один – ноги не унес. Значит, надо бороться.

После одного из допросов с пристрастием, когда он сидел, облитый водой, уткнув локти в колени, опустив голову низко, почти до полу – его тошнило, он боялся, что его вырвет прямо на тюремный пол, – голос над ним произнес загадочное слово: «Спецбольница». И наступило молчание. И он так и сидел, опустив голову, пока к нему не подошли, не приподняли его за руки, как марионетку, не поволокли в родную камеру, на родную койку.

Скоро это слово перестало быть для него загадкой. Ночью, в закрытой машине, в фургоне с решеткой, его привезли туда, откуда, по словам тех, кто томился там, как звери в клетке, не было возврата. «Из тюрьмы – есть, а отсюда, брат, уже нет», – хрипло проскрипел ему в ухо первый, кого он увидел там в темном, освещенном лишь тусклой, как светляк, лампой больничном коридоре: сторбленный человек с отрезанным ухом. Он думал – старик, а глянул в лицо – обомлел: молодой, глаза черно горят ненавистью, рот искусан в кровь. Его ровесник.

– Щас врачаха придет... Явится, не запылится. У, стервь!.. Ангелина Андре-е-е-евна. С-с-с-сука. У ней фамилие такое, знашь, сытое – Сы-и-итина. И правда, рожа сытая такая... дородная. Железная леди, я те скажу! Кнутом тя будет хлестать – и наслажда-а-аться. Сучка первостатейная. Помесь немецкой овчарки и этой, как ее, древней сучки-то, как бишь?.. Клепатры, во. Клепатра прям настоящая! Та, говорят, тоже пытать мужиков любила... Не-а, у ней точно этот, как ее, у самой комплекс... Ей самой, сучке, подлечиться надо, а она тут – всех якобы лечит... И ведь корчит из себя, корчит! Обрати вниманье, как двигается! Башку задерет, ножонками переступает, будто с самолета по правительственной дорожке к самому Президенту машет – ать-два, ать-два! У, морда... Говорят – дисер какой-то пишет... А чо это такое, дисер?.. Ты, брат, знашь аль нет?..

– Диссертация. – Он отвернулся к стене. – Слушай, Колька, у тебя в значке никакой сигаретины не завалилось? Курить до смерти охота. Уши пухнут.

– Тю, спохватился, малой!.. – Колька потянулся на койке, панцирная сетка лязгнула под его огрузлой тушей. – Была б соска, угостил бы... Ти-ха! Вот и она... у, бабеч...

Он инстинктивно подобрал ноги, укрылся тощим вытертым верблюжьим одеялом. Закрыв глаза. Он не хотел видеть никакую «Клепатру». Баба есть баба. Его мужики били – ничего из него не выбили. Ну и что, брешут, что упрятали сюда навек. Навек ничего не бывает! Ни тюрьмы, ни любви, ни жизни. Все когда-нибудь кончается. Кончится и эта ботва.

– Большой Архип Косов, встать! Врача на обходе встречать стоя! Вы тут все не лежачие! Не инфарктники!

Он открыл глаза. Вскинул их. И – обомлел.

Над ним стояла действительно Клеопатра. Владычица. И даже белый врачебный халат не делал ее плебейкой.

Тяжелые темно-красные волосы были подобраны на затылке в огромный пучок, еле державшийся на стальных длинных шпильках под кокетливо сдвинутой набекрень докторской белой шапочкой. Длинные узкие глаза странного, зелено-коричневого, в странную травянистую желтизну, меняющегося кошачьего цвета изредка пугающе вспыхивали красным, когда лицо поворачивалось к свету. Тусклый плафон под потолком палаты слабо освещал высокую, длинную шею, длиннопалые белые руки с сужающимися к кончикам пальцев фалангами; длинные, хищные ногти – их любовно отращивали и за ними любовно ухаживали, – были покрашены густо-малиновым блестящим лаком. Удивительно свежее лицо. Легкий румянец на скулах – или искусный макияж?.. Прямой тонкий нос. Изогнутое лекало намазанных перламутровой помадой капризных губ. Кончики губ подняты. Она улыбается? Она... насмехается? Она – издевается?!

– Большой Косов, вы не слышите – вам говорят!

«Баба она и есть баба. Пусть орет сколько угодно. Не встану».

Он повернулся на другой бок и притворно захрапел. Перед его закрытыми глазами стояли длинные, как слезы, серьги с прозрачным зеленым камнем, качающиеся у нее в ушах.

Он не понял, что произошло. В одну секунду он оказался сброшенным с постели умелым, сильным приемом кунг-фу. Что это кунг-фу, он не знал. Он узнает об этом потом. Он вскочил в один миг, опьяненный яростью. Он забыл, что это женщина. Хотел ответить. Гнев застлал ему разум чернотой. Он сделал выпад. И опять ничего не понял, оказавшись на полу. Женщина нанесла ему боковой маховый удар наружным ребром ступни, мгновенно сбросив с ноги модельную лаковую туфлю.

Он лежал на полу, кости ныли. Он видел над собой лицо женщины. Красивое, с раздутыми ноздрями, с погустевшим румянцем, со сдвинутыми бровями. Она всунула ногу в туфельку. Стояла над ним прямо, как эсэсовская надсмотрщица в фашистском лагере. Он против воли восхитился. Таких бы баб – к ним! К Хайдеру...

– Вставайте, больной Косов, – голос врачихи-зверя был ледяной и спокойный. Будто бы это не она обрушила на него два сногшибательных удара. – Вставайте и пройдемте со мной. Санитары вас проводят.

Что такое здешние санитары, он уже почувствовал на собственной шкуре. Они отделяли непослушных будь здоров. Разновидность палачей, и действуют они не всегда по приказу короля, часто – и по своему соизволению. Нельзя их обижать. Они тебя – могут. Как угодно. Однажды они с Коляном пытались пробраться на кухню, чтобы похитить из кастрюлек хоть что-нибудь съестное – подышали с голоду. «В тюрьге и то лучшей кормят!» – возмутился Колька. Он не забудет, как их с Колькой отлупили санитары. Связали простынями, вместо смиренных рубаш, и отлупили – ножками от старых стульев. После тех побоев у него на колене стала расти странная твердая шишка, и все большее становилось ходить, он не мог свободно сгибать ногу. «Хромой скин буду, Хайдер калеку обратно не возьмет. Да какой я скин уже? Шерсть на башке всю отросла. И обратно я отсюда, как обещают, не вылезу».

Он поднялся. Отряхнул больничную пижаму. Лохмотья какие дали, ужас. И не штопают, и иголок с нитками не дают: а вдруг ты ту иголку санитару в задницу всадишь?! Или в другое место... Пошел к двери. Два санитар в черных халатах, как два черных пса, возникли по бокам, только что не влаивали от усердия.

– Ко мне, – коротко сказала красноволосая Клеопатра. – Вы все тут, лежать тихо! Я вернусь через пять минут.

Толстый Колька скрючился под одеялом. Длинный, сухопарый, поджарый Солдат – старик Иван Дементьевич Стеклов – так и лежал, уставив сумасшедшие белые глаза в потолок. Ленка Шепелев – Суслик – сидел на краю койки, болтал ногами, причмокивал, будто сосал вкусную конфетку, бормотал, вскрикивал дурашливо: «А я счастливей всех!.. А у меня радость!.. А я счастливей всех!..»

«Врешь, через пять минут ты не вернешься», – зло подумал Архип, выходя в длинный темный коридор, где отвратительно пахло с кухни гнилой вареной капустой.

– На что жалуетесь?

– На все.

– Я спрашиваю, на что вы жалуетесь?

Он попытался заглянуть в длинные, как стрелы, зелено-желтые, цвета хризолита, надменные глаза. В ее кабинете было пусто и голо, как во всех унылых помещениях спецбольницы. Страшная, серая пустота. Серые стены, серые офисные столы. Серый стул, и он на нем сидел – напротив нее, сидящей за столом. Сидел и смотрел на ее длинные малиновые ногти.

– Я же вам говорю, на все. Только не надо меня больше бить. Я ведь и сам себя могу убить, правда? Тогда вам станет неинтересно.

– Что – неинтересно?

– Все. Я же кончик ниточки, за которую надо потянуть, правда?

Ее лицо повернулось к нему. Теперь она прямо глядела на него. И он наконец глядел в ее глаза. Он, чувствуя, как все в нем, внутри, обжигается, что все его кишки, сердце, легкие и печенки обдаются крутым кипятком, все-таки глядел прямо ей в глаза. Он не знал, что она владела техникой гипноза – и древней, и современной. Он не знал, что она знала все методы суггестии. Что она серьезно занималась контагиозной магией. Как не знал и того, что ее диссертация, которую она писала, писалась ею на тему: «Агрессия как основополагающая социальная манипуляция в пространстве тотального общественного экстрима».

– Да, вы ниточка, – медленно, задумчиво сказала она. У нее стал удивительно мягкий, вкрадчивый голос. – Мы думали, мы вас оборвем сразу. Но вы умеете тянуть резину. Тот, кто мягко ступает, далеко продвинется на своем пути, вы не находите?

– Кто это сказал?

– Китайцы.

– А если я сумасшедший?

– Что вы сказали?

Зеленые серьги в маленьких ушах дрогнули. Она вытащила из ящика стола портсигар, открыла, вытянула сигарету. Щелкнула зажигалкой. Дым обволок ее гордое, будто из белого мрамора высеченное лицо. «А портсигар-то золотой, – покосился он на вещицу, – драгоценный. Ух, золота сколько вбухано, классно».

– Я сказал, если я действительно сумасшедший? Ну, если у меня и правда крыша поехала? Ну псих я, псих, и все! Тогда как?

– И людей на рынке, ни в чем не повинных, вы убивали тоже в невменяемом состоянии? В состоянии аффекта? Вы оправдываете себя? Вы пытаетесь подстелить под себя соломку? Не выйдет.

Она ногой нажала на кнопку под столом. Санитары, стоявшие за прозрачной стеклянной дверью, с готовностью вломились в кабинет.

– В двадцатую комнату его.

Санитары довольно заулыбались, будто получили шоколадку в награду.

– В двадцатую, точно, Ангелина Андреевна?

– Да. На ЭШТ.

Когда его взяли под локотки и повели к двери, он, внезапно испугавшись до дрожи, до ломоты в костях, чувствуя резкую боль в отбитом колене, закричал, оборачивая голову к ней, докуривавшей сигарету:

– Что такое ЭШТ?! Что такое ЭШТ?!

– Электрошокотерапия, кореш, – радостно заржал санитар, державший его за правую руку. – Положат тебя на доску, электроды к башке подведут, ток пустят. Ну, подергаешься немного, покорчишься. Если мало тока дадут – под себя не будешь ходить, я тебе гарантирую.

Они волокли его уже по коридору, а он упирался, ошпаренный лютым страхом, все обращившись к ее кабинету, кричал: «Зачем?! Зачем меня туда?!»

– Если ты шизофреник, миленький, так лечись, – тихо, с улыбкой сказала она, слушая крики из коридора, потом облизнула перламутровые губы и загасила окурочек в круглой малахитовой пепельнице.

Холод укрытой чистой простыней доски под спиной. Голоса – над ним, вверху. Его руки привязаны к доске. Его ноги привязаны к доске. В его зубы всунута деревяшка, привязана к затылку. Он, как пойманный волк, со щепкой в зубах. Уже никого не укусит. Он понимает: это конец. Все битье по сравнению с этим – это туфта. Здесь ему придет конец, он знает это точно. Ну и что, уж лучше сразу, чем мучиться здесь всю оставшуюся жизнь. Белая раса! Ведь это делают с ним люди его, белой расы. Значит, Хайдер был неправ, и война людей друг с другом может быть и между представителями одного рода, одного клана?! «Сколько дадим ему?» – «На первый раз немного». – «Немного – мертвому припарки. Надо, чтобы он восчувствовал. Чтобы покрутило его потом как следует». – «Хорошо, тогда...» Он не расслышал цифру. К вискам прижалось что-то ледяное. Будто два круга, выпиленных из льда, приставили к вискам. Он затаил дыхание. Деревяшка во рту пахла хлоркой. Он судорожно проглотил слюну.

А дальше настал ад. Мгновенная страшная боль пронизала все тело, от макушки до кончиков пальцев на ногах, стала крутить его и выворачивать; боль нарастала, становилась все нестерпимей, и он выгнулся, хотел соскочить с доски, но он был привязан к ней, хотел заорать – и не мог, деревяшка во рту мешала; он замычал, глаза его вылезли из орбит, а боль все росла, накатывалась на него издали и обрушивалась, плющила его и трясла, и он молил ее: ну кончись, кончись когда-нибудь! Разрежь меня пополам! – а потом уже ни о чем не молил, потому что сознание заволочилось громадой черной тучи, подсвеченной изнутри ослепительным золотым сиянием по краю, по кайме. Туча обняла его и вобрала в себя – так, как вбирает в себя мужчину женщина, когда он острым живым выступом входит в нее. И его не стало.

...Он не помнил, когда он опять начал быть. Словно из тумана, донеслись голоса. «Эй, Коля-а-ан!.. знаю, у тебя в тумбочке чинарик есть... Суслик, прекрати лыбиться!.. Лучше поматерись!.. Эй, ребя, давайте Солдату закажем письмо на волю написать... А кому письмо-то?.. Женке?.. Любовнице?.. Да нет, маманьке... Маманька думает – меня где-нито в Чечне угробили... Ей так, наверно, и отписали отсюда... Коль, ну дай чинарик!.. не жмоться...» Он хотел разлепить глаза, встать – и его тут же, будто веревками, скрутили неистовые, невероятные судороги. Он корчился в судорогах, извивался, закидывал голову, скрежетал зубами, метался по койке, и панцирная сетка звенела под ним, стонала. Он так скрипнул зубами, что коренной зуб раскрошился, он почувствовал осколки во рту, выплюнул их на пол. Голоса над ним звучали так же равнодушно, весело даже: «А, нашего новенького-то, Косова, на дыбу таскали!.. Ну да, так всегда корежит после дыбы... Якобы – полезно это... Пусть мозги нам не пудрят... Не полезно, а – говно полезло!.. Мучат людишек почему зря... Чаво-то из нас выбивают – выбить не могут...»

Его корчило так еще с полчаса. Когда мучительные судороги на время отпустили его, он вскочил с койки с перекошенным лицом, с оскаленным ртом. Приступ ярости, как миг назад приступ боли, сотряс его. Он ударил, не глядя, кулаком влево, вправо. Сшиб с тумбочки Кольки больничную кружку. Она полетела в окно. Разбила стекло. Он пошел, пошел дальше по

палате – все громить, все срывать – простыни, подушки, матрацы с коек. Ухватился за грязную штору. Рванул вниз. Как сорвавшийся карниз не убил его – он не помнил. «А-а-а-а!.. А-а-а-а!» – кричали люди в палате, разбегаясь, прячась кто куда. Ленка Суслик заполз под койку. Идиот накрылся матрацем. Серый Граф сел на корточки, держался за никелированную спинку кровати, блажил: «Ой, спасите!.. Ой, убивают!..» Лишь один Солдат сидел в койке прямо, как аршин проглотив, уставив одинокие белые глаза в пространство.

Ненависть захлестывала его. Ненависть переполняла его. А за что ему было любить этот мир?! Ему, одинокому волку, изгою, выплюнутому миром, ибо противно миру грызть отбросы?! Мир выбросил его из себя – бей этот мир, бей, убивай, пока сам не сдохнешь! Пока сам...

В палату ворвались санитары. Набросились на него. Повалили на кровать. Дюжий санитар, по прозвищу Дубина, прокряхтел, крепко прижимая животом его голову к подушке:

– Эй, Марк, веревки тащи! Будем, на хрен, привязывать!

Они так крепко примотали веревками его запястья и лодыжки к металлическим опорам койки, что конечности вмиг затекли, налились кровью, посинели.

– Развяжите, суки!

– За «суку» ты получишь...

– Не бей его, это такое бывает после ЭШТ... Бесятся они... Глотки всем готовы перегрызть... Это реакция такая, не колоти его, слышишь, Андрюха...

– На! Получай! Еще?! Хватит?! Сыт?! Лежи! Думай за жизнь!

Ушли. Сумерки вливались в палату стремительно, как синий яд. Голоса кругом поутихли. Разнесли ужин – он слышал, брякают тарелки, алюминиевые ложки. К нему никто не подсел на кровать, не покормил его с ложечки. Он внезапно почувствовал резкую, острую жалость к себе. Ощутил себя маленьким, очень маленьким, совсем дитем. Вспомнил детство. Сибирь. Он – сирота. Та семья, что приютила его в енисейском поселке Подтесово, так прямо и сказала ему: ты – неродной, ты – сирота, у тебя папка в лагерь загремел, а мамка спилась, ее хахаль убил, ножом на кухне зарезал, так мы тебя милости ради взяли, вот живи, хлеб жуй, да не забывай, чей он – хлеб. Василий Косов был охранником в лагерях около Лесосибирска. Он и забрал его, когда мамку пришили. Он помнит дом на Енисее, где они жили с мамкой. Тесный, маленький, избенка срубовая, даже тесом не покрыта. Крыша все время протекала. Когда отца взяли, к мамке стали приходит чужие мужики. Она спала с ними за печкой, его не стесняясь, визжала, вскрикивала, материлась; он видел иной раз за подпечком ее высоко вздернутые голые белые ноги. Когда мужики уходили, мамка выпивала водки и становилась доброй, розовой, ласковой, обнимала его, целовала, пуская слюни ему на щеки. «Архип, – причитала, – Архипка, что ж ты у меня какой хлипкий...» Он и правда часто хворал, кашлял. Однажды он нашел мать за печкой, на кухне, всю резаную-перерезанную. Заорал от страха. Прибежали люди. Пригласили из лагеря, что поблизости, охранников, чтобы труп на машине довезти в сельскую больницу – может, жива еще? «Ваську Косова позовите!.. Ваську Косова!.. У его – машина казенная!..» Он так и не узнал, где могила матери. Он не знал, кто такой Василий Косов. Зато потом узнал хорошо. Лагерный охранник дал ему свою фамилию. По пьяни – колотил его, малявку, по затылку, кричал, куражился: «Да у меня автомат есть! Да я всех, если надо будет...»

Жалко себя, жалко. Слезы текли по его щекам. Он лежал, привязанный к койке, будто распятый. Он скинхед, он бил черных и будет бить. Это черные, это все чернявые, жадные, хитрые, вонючие чужаки облепили его страну, его Россию, его Русь, и сосут, прилипали, из нее кровь. Это они виноваты в том, что у него не было детства! Не было юности! Не было ничего! Это все они! У них – все! В их руках – все! Власть! Деньги! Бабы! Воля! Жрачка! Выпивка! В их руках – жизнь! А в его?! В руках таких же, как он?!

Слезы лились уже градом. Он скрипел зубами. Ругательства вырывались из его стиснутых губ. Палата погрузилась во мрак. Это ночь наступила? Ну да, это ночь. Плачь, можно поплакать

вволю. Тебя сейчас никто не видит, пацан Архипка. Может, только мать, летящая среди облаков с изрезанной крест-накрест кухонным ножом, окровавленной грудью, видит тебя с небес.

Не с небес, а из-под грязного потолка палаты. Он хохотнул сквозь слезы, выплюнул еще крошку от зуба.

И услышал, как в тишине, нарушаемой лишь храпом узников и бормотаньем Суслика: «А я – счастливый!.. Я – и правда счастливее всех!..» – по каменному полу палаты мерно, четко стучат каблучки.

Цок-цок, цок-цок. Лошадь хорошо подкована. Цок-цок.

Сердце замерло. Он отвернул голову, закрыл глаза, засопел, притворился спящим. Кто-то сел на край его кровати. Пружины тихо тренькнули. Сел – и застыл. Тоже, как и он, замер.

Так они застыли оба: он – лежа, привязанный, едва дыша, тот, кто сидел у него на кровати – не шевелясь, не тревожа пружины.

Ночь спускалась, ночь втекала в палату из окна. Ночь обнимала мир черными властными руками. Ночь была чернокожая, и ее тоже надлежало убить.

Он почувствовал, как чьи-то руки медленно, уверенно развязывают ему туго затянутые узлы веревок на запястьях. Сначала на одном, потом на другом. Он все еще боялся открыть глаза и посмотреть. Он уже чувствовал запах духов и слабый запах сладкого пота из подмышек. Запах женщины. Чувствовал острые ногти, царапающие его кожу. Кошка. У, кошка, ты пришла, чтобы обцарапать меня?!

Он уже знал, кто отвязывает его.

И, повернув голову, открыв глаза, почуяв руки освобожденными, он приподнялся на койке – и резко, сильно, больно, будто бил мужика, а не бабу, ударил ее по щеке.

И снова закрыл глаза. И отвернулся.

Он этой пощечиной ей все сказал.

Кто она такая.

Она прижала ладонь к щеке. Щека пылала. Она ощупала кончиками пальцев щеку, скулу, челюсть. Нет, не вывихнул, уже хорошо. От таких ударов челюсть запросто сворачивается на сторону. Она-то знает это. Ага, лежит без движения. Изображает равнодушие. Она наклонилась над ним, он совсем близко почувствовал пряный, египетский аромат ее духов.

И губы, горячие, властные губы раздвинули его рот, и язык вплыл внутрь, лоя и нащупывая его язык, и ее рука нашла, стиснула под простыней живую дубинку, тверже железа, что восстала – бить, разить, убивать и рождать.

Молча, не говоря ни слова, она снова привязала веревками, валявшимися на полу, его руки к спинке койки. Сдернула с него простыню. Грубо стащила с него рваные, старые пижамные штаны. Нежно погладила, потом грубо стиснула его вздернутый уд, больно уцепила, сжала в пальцах и крутанула складку кожи на головке. Наклонилась. Взяла дрожащую плоть губами. Он уже истекал соком. У него так давно не было женщины. Он чувствовал, что сходит с ума. Она ласкала его страшно и грозно, сжимая в кулаке, вталкивая глубоко в рот, больно кусая. Он с трудом удерживался, чтобы не излиться ей в рот. Она поднялась, быстро сбросила с себя туфли и трусики – и так, в халате, в черных чулках, раздвинула над ним, лежащим, беспомощным, красивые ноги – и медленно, страшно, мучая и его, и себя, опускалась на его вздернутый штык, накалывала себя на него, насаживала, как мясо на вертел.

Все молча. Все без слов. Без стонов и криков. Они оба понимали – стонать и кричать и говорить нельзя, это палата, и больные спят, и санитары за дверью, и дежурные сестры в сестринской комнате. Она двигалась на нем сначала резко и сумасшедше неистово, потом – внешне – застыла, оцепенела. Слушала, как он ворочается, как зверь, внутри нее, в ее пещере. Положила ему пальцы на губы, и он укусил эту руку. Она отдернула руку. Усмехнулась. Он видел во тьме палаты эту усмешку – белые зубы сверкнули, как ледяные сколы, зеленые серьги качнулись в ушах. Она сильнее вдавила его в себя, и он, не выдержав, застонал. Она легко, не

больно ударила его по щеке: молчи. Уперевшись ладонями в его плечи, она стала подниматься и опускаться над ним, то убыстряя движения, то замирая, и из него снова исторгнулся мучительный стон. Она приблизила к нему лицо и вобрала в рот его губы, играя ими, как заблагорассудится – жестоко, умело. Он задышался. Она уже не сдерживала себя. Приподнимала ягодицы, усиливая толчки, становившиеся все бешеней, все жаднее. Скакала на нем, как скачут на лошади. Он был ее конем. Она – его дикой наездницей. Он подавался навстречу ей, веревки врезались ему в запястья. Она укусила его губы до крови. И внезапным, страшным усилием он, напрягши все мышцы, сделав их каменными, железными, отвердив до предела и чудовищно вздув, разорвал путы, связывавшие его.

Неистовый взрыв сотряс их одновременно. Она не удержалась, раскрыла рот в беззвучном крике, захрипела, застонала. Толстый Колька ворохнулся во сне. Суслик забормотал чаще, прерывистее свою ахинею. Сидя на нем верхом, не слезая с него, видя, что он освободился от веревок, она, с улыбкой наклонившись к нему, вытирая обеими руками пот с лица, спросила веселым шепотом:

– Ты меня теперь задушишь?

Он молчал. Еще тяжело, как загнанный зверь, дышал. Она все еще сидела на нем, сжимая ногами его ребра. Потом потянулся к ней, привстал на звякнувшей койке, взял ее лицо в руки и поцеловал, как икону.

Всего больных в палате было тринадцать человек. Колька шутил: двенадцать апостолов, братцы, и Христос, а кто же Христос-то, а?.. вот то-то и оно, каждый думает, что – он... После завтрака, после порции уколов и лекарств, после принудительного лечения – кому душ Шарко, кому – литий, кому – ЭШТ, кому еще какая пытка назначена, – узники начинали точить лясы. Так коротали до обеда время. После обеда тоже болтали; иные спали; иные буйствовали, и их нещадно лупили санитары. Иные выясняли, кто за что сюда, в «спецуху», загремел. Сергей Кошелев попал сюда попросту – от армии захотел отлынить, под психа «закошил», ну, его маленько проучить решили. Федя Шапкин, пловец, спортсмен, был изловлен при переплывании в море русско-турецкой границы. Федя так и не сказал, зачем да почему плыл ночью, под лучами пограничных прожекторов, в Турцию морем, да еще в непогоду, в шторм. Это навсегда осталось тайной – видимо, не только его. Да, здесь у половины узников были не свои тайны, и выдать их – значило также помереть, и в этих же застенках, но только, возможно, от руки тех, кого ты заложил и кто с воли подсылал к тебе наемника, палача-исполнителя. Никто не знал, как попал сюда Солдат. Старик все время молчал. Видно, его залечили уже до степени полной молчанки, или же это была удобная маска: молчу – не тронут. А может, он был просто глухонемой.

Ангелина Сытина, главный врач спецбольницы, по-прежнему приходила к Архипу по ночам. Не каждую ночь, конечно. Но – часто. Он безошибочно определял, когда она явится. В воздухе пахло грозой. Пахло – ею. Он изучил эти ее пряные, с ароматами и благовониями Аравии, Сахары и Нила, египетские духи. Он знал, что она любит, какие позы, какой ритм; он сходил с ума, представляя, как она ляжет на живот поперек кровати, раздвинет ноги: «А теперь так». Обычно она приходила часа в три-в четыре ночи, когда вся больница погружалась в оцепенение, в ледяной мучительный сон. Иной раз в ночи раздавался крик из дальней палаты. Это кричал, корчась в судорогах, тот, кого недавно приволокли на каталке из двадцатой комнаты.

Однажды он ее попросил: «Странная просьба у меня к тебе будет, да?.. Но ты послушай. И не смейся». Она засмеялась тут же. Он положил ей пальцы на губы. «Принеси мне сюда... жаровню. Хочу видеть живое пламя. Хочу испечь, зажарить мясо. Шашлык. Я исхудал. Тут не еда, а коровье говно. Принеси настоящего мяса. Баранины. И жаровню. Попроси на кухне жаровню. Ну... попроси на улице... у этих... у чурок... они на каждом углу сейчас шашлыки жарят». Она посмеялась, ничего не сказала, потрепала его за щеку, как младенца. Он дернул головой. «Не принесешь? Черт с тобой».

На другую ночь она снова явилась. Он думал – она не придет. Пришла и принесла с собою небольшой аккуратный мангал. Раздула в углях огонь. Она доставала из пакета хворост, подкладывала в красное пламя. Огонь разгорался, Архип протягивал к огню руки, улыбался. Солдат лежал рядом на койке, лицом вверх, неподвижно глядел в потолок. Солдату бы мяса горячего, сразу бы сил прибавилось. Ангелина вынула из сумки кастрюлю, там лежали приготовленные куски шашлыка, вымоченные в уксусе и посыпанные резаным луком; ловко насаживала их на принесенные шампуры. Мясо, мясо. Настоящее, живое мясо. «Как это там Емелька Пугачев говорил?.. Лучше один раз напитокся живой крови, чем всю жизнь жрать мертвечину?..» Да, именно так он и говорил, а откуда ты знаешь?.. Пушкина надо читать, школьная программа. Я так давно училась в школе. Я все забыла. Гляди, какая красота. И сок уже капает. И угли шипят. Красные угли.

Они сидели на корточках, на каменном полу холодной палаты, перед жарким мангалом, где жарилось мясо, грели руки, протягивая их к огню. Окна затягивали роскошные морозные узоры. Белые пальмы... белые хризантемы... Ангелина переворачивала шампуры, чтобы мясо поджарилось со всех сторон. Вкусные запахи расплзались по палате. Больные беспокойно ворочались. Кое-кто проснулся, увидев главного врача, скрючившуюся на корточках перед горящим мангалом, испуганно перевернулся на другой бок. Федька Шапкин громко стонал во сне. Он перенес пять сеансов ЭШТ. У него уже обнаружилось недержание мочи, отвисала челюсть. Он так и не сказал, зачем переплывал морскую границу. Эй, моряк, ты слишком долго плавал! «Может быть, уже готово?»

Она сняла с огня шампур с самыми толстыми, сочными кусками мяса, ловко стащила крайний кусок пальцами, длинными ногтями с серебристо блеснувшего в полутьме шампура – и стала есть, обжигаясь, дуя на мясо, беззвучно смеясь. «Готово. Пробуй. Все как ты хотел, идиот». Он взял шампур у нее из рук. Отгрыз кусок прямо с шампура, не сводя с нее глаз. «Я не идиот. И ты не стерва. Зачем ты представляешься стервой?». Она усмехнулась. Уцепила горячее мясо пальцами. Поморщилась от боли, сорвала с шампура. «Не обожжешься?..» Она держала кусок баранины на голой ладони. «Я обожглась об тебя. Теперь уже все равно». Красный уголь, красное пламя, красная зола, темная палата, алмазно-блестящие ледяные разводы на оконных стеклах.

Она вздохнула. Стала есть мясо. Поймала губами падающий с куска завиток лука. Снова остро посмотрела на него, сидящего близ мангала. По его лицу ходили красные блики. «Ты выйдешь отсюда, если ты скажешь, кто ты, с кем ты и кто стоит за тобой».

«Покажу на своих?»

«Да, покажешь на своих». Ее губы блестели жирно. Глаза изумрудно мерцали. Сейчас она была похожа на кошку, на первобытную женщину, делящую со своим недавно прирученным хищным зверем ужин, зажаренную на костре дичь.

«Изволь. – Он кивнул головой на окно за его спиной, все в морозных хвощах и папоротниках, на тусклые придорожные фонари, на сугробы и звезды, на страшный каменный город там, вдали. – За мной – вся страна».

Ее красивое лицо освещалось красными сполохами огня, еще живущего внутри мангала. Губы в бараньем жире улыбались. Она держала мясо в руках, на белый глаженный халат капал мясной сок. Темно-рыжие волосы выбились из пучка, красное кольцо волос обнимало розовое ухо. Ее длинные глаза сейчас, в ночи, потемнели, отсвечивали зелено-синим, почти чернотыловым, как виноград «изабелла», куда девалась дневная кошачья желтизна. И все же она кошка. Египетская кошка. Хайдер рассказывал – была такая богиня Бастис, кошка, она жила в пустыне, беда была, если кто разгневает ее. «Ты хочешь сказать, что у нас скоро настанет ваша диктатура?»

«А другого выхода нет, госпожа главврач. Таких, как ты, кто мучает людей, надо...» Он резанул ребром ладони себе по горлу. Глядел на нее. Она вернула ему взгляд. Ее зрачки снова на миг сверкнули красным. «А если я – буду – с вами?»

«Ты...» Он обнял всю ее взглядом. Запустил зубы в кусок, стащил, как зверь, тряся головой, с шампура. Прожевал. Снова уставился на нее. Она сидела на корточках перед мангалом, ее безупречно белый халат был весь заляпан жиром. Он вспомнил, как она изнасиловала его в койке, привязанного, первый раз, и снова мучительно захотел ее. «Ты... Ты – можешь».

Ночь была такая короткая. Дыхание было тоже коротким. Два слова, всего два слова умещались в выдох.

Смыслы движения? Вашего движения?

Очищение. Очищение страны от грязи. Очищение земли от грязи. Слишком много грязи накопилось. Ее можно только выжечь огнем. Или вырезать ножом.

Новая Хрустальная ночь? Недурно.

Ты знаешь о Хрустальной ночи?

У меня была пятерка по истории. Это неважно. Ты сказал про огонь. Вы считаете себя огнем?

Даже Христос говорил про крещение огнем. Мир гниет с хвоста. Он погибает. Россия тоже погибает. Россию съели, сожрали черные мерзавцы.

Кто это – черные мерзавцы?

Кавказцы. Евреи. Азиаты. Негры. Чурки. Слышишь, они все чурки. Они – зараза. С Кавказа ползет зараза. Из Китая ползет зараза. Из Африки ползет зараза. Ты, врач недорезанный, тебе что, нигерского СПИДа мало?!

Хорошо. Вы перебьете всех неугодных. Вы возьмете власть. И что будет? Россия для русских? Только для русских? А как быть с татарами? С чувашами? С мордвой? С хакасами?

Не заливай мне про хакасов. Не заливай мне про татар. Татары – соседи. Славяне с ними издавна жили. Я вырос в Сибири, так я рядом с хакасами вырос, с эвенками. Соседей трогать не будем. Мы будем убивать только чужаков. Оккупантов. Оккупанты – к стенке!

Так, замечательно. Ну, а если во мне течет, хм, иноземная кровь?

В тебе?! Иноземная?! Из перерусских русская, Ангелина Сытина... Выдумашь еще...

А если? Ну, если? Если я покажу тебе паспорт? И там – черным по белому: осетинка? Или – ассирийка? Или – еврейка? Тогда как? А? Меня – тоже к стенке?

Тебя надо – к стенке в первую очередь. Ты – сука. Но нам такие, как ты, нужны. Я говорю это все тебе сейчас не просто так. Наше учение свято. Все, что основано на чистоте – крови, помыслов, поступков, – спасет землю. Все, что замешано на грязи – когда смешиваются крови, нации, языки, тела, добро и зло валят в одну кучу малу, – ее убьет. Поэтому лучше уьем мы. Наше убийство – не убийство. Мы убиваем, чтобы будущие поколения – жили.

Ах, как это знакомо. Сейчас моря крови, в будущем – моря счастья. Так мир и топит себя в крови, а счастья все нет и нет.

А ты умная. Ты всегда была такая умная? Гитлер вон все придумал правильно со своим народом. Мы Гитлера до сих пор как чудище представляем, а он ведь был умный человек. Все организовал. Народ накормил. Правительство отладил. Идеями головы снабдил. Высокими идеями, между прочим. Колонны маршировали. Знамена несли. Героем каждый хотел стать. Героем, слышишь!

Ты тоже хочешь стать героем? А попасть в гитлеровский концлагерь – хочешь? И прямиком – в печь?

Меня не взяли бы в концлагерь. Я – молодой. Я полон сил. Я боец. Меня послали бы воевать. И я бы погиб в бою, здесь...

...на Курской дуге, да, под Вязьмой, под Москвой? Подо Ржевом? Ты убит подо Ржевом, молоденький немецкий ефрейтор, ты, Гитлерюгенд?!

Там – герои. Здесь – герои. На войне все герои. Давно не было героев. Давно не было войны. Мир иссяк. Мир высох. Миру нужна влага. Надо полить все кровью.

Ты так хочешь войны? Скажи, ты хочешь войны?

Да. Я больше не хочу мира. Я хочу войны.

Поцелуи закрывают брешь пустоты, разверзающейся, раскрывающейся между ними, как раскрывается незажившая рана под сползшей повязкой. Он целуют друг друга так неистово, будто хотят ворваться, войти друг в друга. Стена плоти неодолима. Человек никогда не войдет в человека. Человек никогда не поймет человека. Человек всегда будет биться о человека, как бьется рыба об лед, как бьется волна о каменный лоб скалы.

– Косов! Встать!

Крик доносится из другого мира. Издалека. Крик не принадлежит миру, в котором он еще пребывает, еще плывет.

– Косов! Встать, говорят!

Глаза медленно открываются. Он – на больничной койке. Ни запаха мяса. Ни запаха египетской царицы Клеопатры. Ни мангала. Все убрано. Следы заметены. И халат, верно, уже положен стираться в автоклав. Завтрака еще нет. Больные угрюмо сидят на кроватях. И все почему-то смотрят на него. На него одного.

Санитар подходит к нему, берет его за шкурку, как котенка, и силком спихивает с койки. Он без штанов. Придерживает сползающие трусы. Порвалась резинка. Слышно хихиканье Суслика. Он, шепотом матерясь, влезает в пижамные штаны, валявшиеся на полу. Другой санитар, в дверях, радостно скалится.

– Косов! За мной!

Он выходит в коридор, сопровождаемый стражами. Косится на резиновую дубинку в руках санитара. Куда на этот раз? В двадцатую комнату? В тридцатую? Он усмехнулся. В нем больше не было страха. Он снова чувствовал себя воином и мужчиной. Да, он мужчина. Она дала ему понять, почувствовать, что он – мужчина. Да, она искусница, Клеопатра. Плати за ночи Клеопатры пытками, skin. И попроси санитаров тебя обрить, для порядка. Они это делают с удовольствием. У героя должна быть голая, как железный шлем, гладкая голова, чтобы удобно было в любое время надеть каску. Твоя голова – твоя каска. Бейте током. Бейте дубинками. Все, что нас не убьет – сделает нас крепче.

... ..

Это было так недавно. Ему сейчас казалось – это было целый век тому назад.

Мощные лесистые крутосклоны отражаются, как в темно-зеленом зеркале, в бурливом Енисее. Порогов и перекатов на реке стало меньше – плотины подперли воду, она успокоилась там, где должна бежать и играть, как встарь. Михаил Росляков пригласил его порыбачить в Бахте летом – ну он и поехал на Енисей, давненько он тут не бывал. Все столица, столица. А Сибирь уже где-то побоку лежит. Как копченая семга: закоптил, полюбовался, положил в мешок – и забыл, а клялся, что осенью с пивком сгрызет.

Рыбалка по осени, рыбалка... На Енисее – самая рыбалка. Никакое вонючее Подмосковье с Енисеем не сравнится. Хайдер дал ему денег – он заслужил, заработал. Такую вербовку провел среди молодых ребят – любо-дорого. Целые города, городки под Москвой, под Нижним, под Ярославлем поправели. Правых на выборы выдвигают. Целые районы пацанов головы бреют, в скинхэды подаются. «Скины – это наша юная гвардия, – так Хайдер ему и сказал. – Обрати внимание на скинов! На них пока вроде бы никто внимания и не обращает! А жаль! Скинхеды – это завтрашние мы. А мы завтра будем гораздо жесточе и жестче нас, сегодняшних». Он хорошо поработал и заслужил отдых. Билеты на самолет, правда, вздорожали. Ну да и на поезда тоже. За инфляцией не утонишься. «Это черные гаденыши нам делают инфля-

цию, все они. Скинем их – заживем. Будем править – все будет правильно, понял?!» Куда ни шли триста долларов, пожал плечами Хайдер, на-ка тебе все пятьсот, гульни. Только с черными девками там, в Сибири, не спи, понял?! Никаких чтобы китайнок, монголок! Только с русскими матрешками! У нации должно быть здоровое и чистое продолжение, понял?! «Не бойся, презервативы в любом киоске, шеф», – буркнул Архип, заталкивая доллары в нагрудный карман «бомбера».

Он прилетел в Красноярск, из Красноярска, договорившись с капитаном маленького енисейского катерка, развозившего провизию геологам, поплыл по Енисею на север, через родное Подтесово, к Бахте. Бахта, поселок на берегу, да и поселком-то трудно назвать: домов шесть-семь, не больше, жмутся, как улы на пасеке, друг к другу. Осень стояла в тот год в Сибири драгоценная. Леса горели золотым, янтарным и красным, горы мерцали ало-пестро, как яшмовая шкатулка. Жидкое золото стекало с верхушек приречных угоров, багрянец вспыхивал огнем в распадках; под ногами в тайге еще подмигивала забытая, неснятая рубиновая брусника, алели красноголовики. Осень была наброшена на Сибирь, как вышитый красными розами бабий платок – такой носила когда-то его покойная маманька. Где-то здесь, недалеко, был дом... Когда проплывали Подтесово – он спустился в кубрик, отвернулся от окна, курил. Не хотел, чтобы видели его слезы.

В Бахте он сразу же двинул в избу к Мине Рослякову. «Миня, встречай москвича!.. Вот гостинцы...» Выпили «Столичной» водки, закусили чем Бог послал: Росляков вывалил на стол все таежные богатства, все соленья и варенья. «А вот кунжа, рыбка знатная, ух, пальчики оближешь!..» Они выпили все три бутылки с Миней одни, голосили песни, Миня играл на гармошке, не попадая пьяными пальцами в клавиши, нещадно растягивая меха. «С кем рыбалить-то собираешься?.. Со мной аль в одиночку?.. Один?.. ну-ну, гляди... А то я старовера Еремея тебе подкину, он ить бойкий старикан, шустра-а-ай... он тебя на такую рыбку наведет – закачаешься!.. На чира, на золотого осетра...»

Они все-таки пошли к Еремею. Дед встретил их на завалинке, курил трубку. Глядел на дворец осени слезящимися глазами. Договорились. Еремей сладил снасти, осмотрел лодку, кивнул Архипу. Выплыли на самую середину Енисея, на стрежень. «На стрежне рыба плохо берет, – выкряхтел старик, – давай-ка подгребем к тому берегу поближе». Ветер рвал с берез и лиственниц золотые ошметки, продувал насквозь, до души. Холод дышал с севера. Пахло зимой. Еремей поставил снасть на осетра – длинная леска, на конце камень, к леске привязано множество крючков с насадкой. Дед размахнулся и закинул камень далеко в воду. «Сейчас посидим, перекурим, и, даст Бог, дело пойдет».

Ждали час или больше. Колокольчик на леске зазвенел. Еремей вздрогнул, уцепился за леску сухими узловатыми пальцами, похожими на корешки хрена, стал тянуть. Рыбина большая ухватила крюк. Когда над водой показались колючки на темной спине и острая акуля морда, Архип радостно закричал: «Осе-о-отр! Тяни!» Он перехватил леску у старика. Вдвоем они тянули упирающуюся, мечущуюся в холодной воде рыбу. Это было упоительно. Он никогда не забудет ощущения живого сильного тела, которое бьется, хочет жить, и ты борешься с ним – и побеждаешь.

Они затащили осетра в моторку. Кинули на дно. Осетр и вправду был огромен – великолепный, страшный, как рыцарь в латах. «Древняя рыбища, – уважительно сказал Еремей и потрогал большим пальцем костяную щеку осетра, – все делает, и дышит, и разговаривает. Как человек. И размером с человека. Ну, поохотились. В Бахте разговору об нас будет!..» Больше ловить не стали – надо было разделять осетра, даже на холоду он портился быстро, а Еремей сказал, важно поднимая черный прокуренный палец, что в снулой рыбе образуется смертельный яд, ее есть нельзя. Вернулись с победой. Доволокли добычу под жабры в избу к Еремею. Архип огляделся. О как знакомы ему были такие избы! Изба вся – из одной комнаты: тут и спят, тут и едят, тут и снасти чинят. Черные бревна дышали сыростью, старостью. Под потол-

ком болталась лампочка без абажура. «Лампочка Ильича», – насмешливо подумал Архип. По стенам висели желтые и коричневые старые фотографии. Потолок был оклеен газетами сорокалетней давности, тоже желтыми, как воск. На строганом, без скатерти и клеенки, столе стоял граненый стакан, лежала синяя коробка спичек, серела крупная соль в поллитровой банке. Разношенные сапоги около печки. Дранный собаками тулуп на гвозде в углу. «Как ты живешь тут, дед Еремей?» – со сдавленным внезапно горлом спросил он. «Пес его знат, паря, – старик почесал затылок, поглядел на рыбу, разложенную на полу на мокрой тряпке. – Так вот и живу! Хлеб в Бахту не всякий раз катера завозят, накуплю впрок, сухарей насушу...» – «А родные-то у тебя какие есть?» – «Есть, а как же, есть. В Красноярске кто, кто – в Якутске... один мой пацан погиб, на этой, как ее, китайской границе... давно уж... Про остров Даманский слышал?... Ну вот там и сгинул...» – «А что же тебе дети не помогают?» Архип глянул на коричневую фотографию у печки. Маленькая женщина, лицо суровое, губы сжаты, в валенках. Наверное, жена. «Кто бы им самим помог! – Старик сморщился, губы его затряслись, он замахал рукой, отгоняя от себя наворачившиеся слезы, как отгоняют мух. – Бедствуют ребята, бедствуют! То на одну работу сунутся, то на другую... Витька пытался дело открыть – прогорел к чертям... В тюрягу загремел... Выпустили... Младший, Ванька, в Якутске с семьей... Трое у него... На трех работах пашет – а денег все нету, еле концы с концами с бабой сводят... Хоть воруй иди, твою мать! А может, и пойдут! Витька вон после тюрьмы обозленный такой, пишет письма: автомат раздобуду, на жирных пойду, всех пришью к лешему... Такие-то дела, сынок... А ты говоришь – помогать... Не-е-ет... Бог помогает... Человек, помоги себе сам – и весь тут сказ!..»

Еремей поднял голову и широко перекрестился на темный, прокопченный образ Богородицы, висевший в красном углу над столом. Архип скрипнул зубами. Нищета. Русь. Пустая изба. Сколько таких стариков по России в покинутых селах. «Мы выдернем тебя, Еремка, и таких, как ты, из нищеты. Мы будем воевать. Мы, как твой Витька, возьмем автоматы в руки». Еремей глянул на Архипа остро, вдруг – завлекательно-хитро. «Автомата-а-аты?... Это ж дороге удовольствие, автомат. Где денежек на оружие возьмете? Аль у вас все серьезно?... Выпить, говорю, у тебя ничего нету?..» Архип достал из куртки припасенную бутылку, привезенную из Москвы. «Это ж надо, а „Гжелка“ называется!.. Впервой такую вижу... Забирает?...» – «Еще как забирает, дед. Завтра утром на рыбалку не встанешь».

Они разделявали осетра, варили уху, Архип нанес дров из стайки, растопил подпечек, бросал в варево соль и лавровый лист. Аромат драгоценной рыбы гулял по избе. «Да ить беда, рыбадзор то и дело шастает по реке, это нам с тобой нынче повезло, не спымали нас, как того осетра». Хлеба у старика не водилось, одни сухари. Архип пожалел, что не захватил с собой из Москвы в самолет рюкзак с хлебом. Еремей опьянел быстро, рука его дрожала, протягиваясь к рюмке, нос и глаза быстро покраснели. «Ух, вкусно!.. За бутылку – удавлюсь, ей-Богу... Люблю я это дело... Тут у нас одно веселье – зелье... А что, что, ну вот ты мне скажи, как бороться-то будете?... Народ перебьете?..»

«Перебить – слишком просто», – Архип опрокинул в рот граненый стаканчик водки и потянулся вилкой к куску разложенной на доске, дымящейся осетрины. Он жевал осетрину и смотрел в окно. Золото укрывало угоры и лощины, золото рвалось ветром в нестерпимо-синей вышине. «Смертельная красота», – подумал он. Будто церковной парчой все накрыто. Перебить, говорит Еремей. Если бы все решалось так быстро! Убил того, кто мешает тебе жить, – и будь счастлив?!

Хайдер приводил им примеры из истории. Хайдер говорил об Иване Грозном. Об армянской резне 1915 года. О геноциде Пол Пота. О Варфоломеевской ночи. О Хрустальной ночи в Германии. О сталинских лагерях. Хайдер говорил о том, что войны и геноцид очищают генофонд, поворачивают колесо истории, освобождают человечество от шлаков, от явлений застоя. Хайдер рубил рукой воздух, лицо его горело вдохновением, жесткое, властное, и они глядели на него и верили ему.

Хрустальная ночь. Это было. И это – будет?!

Все, что было, будет когда-нибудь снова.

Будет Хрустальный год. Будет Хрустальный век.

Новый век, мы должны отпить из тебя, как из хрустального бокала. Темно-красный, сладко-соленый, пьянящий напиток – наш.

Они с Еремеем уснули поздно, за полночь. Старик уложил его на печке. Архип долго не мог уснуть, слышал, как старик, стоя на коленях, косноязычно, пьяно молится перед иконой, бормочет, просит, умоляет, плачет. Старик молил для всех, и для себя, и для детей, и для народа, и для него, Архипа, – счастья, конечно. Но староввер не знал, что такое счастье. Он не знал его никогда. Поэтому бросил молиться о счастье и стал молиться о том, чтобы крупная рыба всегда в сети шла.

– Ты глуп, Баскаков. Бороться надо не твоим кустарным способом. Ты мыслишь категориями прошлых лет. Просто твой метод – любовой метод. Есть другие.

– Какие же, Хайдер?.. Ну-ка назови!

Кудлатый высокий, крепкоплечий мужчина с яростным смуглым, в оспинах, лицом откинулся на спинку стула, и стул под ним чуть не сломался. По его корявому лицу, кроме оспинных вмятин, еще бежали и шрамы – один вдоль правой щеки, ножевой, другой – белой морской звездой – рваный, на подбородке. Огромные карие бешеные глаза глядели, как с иконы византийского письма. Мужчина расстегнул пуговицу на воротнике гимнастерки и сухо, будто утка крякала на озере, захохотал.

– Ты можешь смеяться сколько угодно, Ростислав. Смеется тот, кто смеется последним, тебе это известно. Я не буду сейчас раскрывать тебе все карты. У меня должно быть мое ноухау, не так ли? Скажу тебе одно: на выборах, через четыре года или через восемь лет, это уже неважно, электорат выберет меня. Меня – или другого из наших, который окажется умнее, чем я.

– А о себе ты думаешь, что умней тебя быть невозможно?

– Невозможно. – Говоривший улыбнулся. – Как ты думаешь, Саша, ведь невозможно, правда?

– Невозможно, – весело согласился высокий, плотный парень с бритой головой, в темных маленьких круглых очках, с вывернутой, будто заячьей, губой. На голом черепе уже отрастала колючая темная щетина. – Ты прекрасен, спору нет, Хайдер. И умен. Что бы ты делал без меня, а? Без меня, кто сделал тебя, собаку, таким умным?!

Саша расхохотался. Тот, кого называли Хайдером, рассмеялся тоже, хлопнул Сашу по плечу. Круглое, сытое, скуластое, крепкой лепки, лицо смеялось. Смеялись чуть косо стоявшие, с татарчинкой, светлые глаза. Смеялся выдвинутый вперед властный подбородок. Смеялись крепкие, жесткие, как у скульптуры, мощные, ораторские губы. Смеялся, ходуном ходил кадык на могучей шее. Ворот черной рубахи расстегнулся, и на ключицах подпрыгивал, смеялся медный нательный крест.

– Ну да, Деготь, без тебя я бы был – ничто! – отдышавшись, бросил он. – Что такое вождь без философа? Идея первична, не так ли, партайгеноссе Деготь?

– Хорошо, – Баскаков не успокаивался. Вертел в руках сигарету. Не закуривал. Нервно прыгала верхняя губа, тик колыхал шрам на подбородке. – Хорошо, скажите же мне тогда, какими все-таки путями вы собираетесь привести Фюрера к победе? Времена, когда народ верил лозунгам и слоганам, давно прошли! Я, как старый солдат, прошедший Афган и Чечню, говорю вам точно: наши действия – война! Сугубо – война! Это – мое дело. Я считаю, что времена выступлений, маршей, шествий и демонстраций в Москве и других городах под знаменами с Кельтским Крестом и с иными штандартами, какими хотите, тоже – давно прошли! Вы считаете, скинхеды – неуправляемые?! Да я покажу вам, что еще как управляемые! Надо только создать жесткую иерархию внутри самих объединений и группировок! Они – пока что

– анархичны! И ты, Хайдер, что греха таить... – Баскаков сглотнул слюну, расстегнул еще одну пуговку на гимнастерке. – Ты, согласишься, ты еще не совсем Фюрер. Ты только называешь себя им. Тебя же никто не знает.

– А я и не стремлюсь к тому, чтобы меня узнали завтра. – Хайдер улыбнулся, расправил широкие, мощные плечи, сладко потянулся, зевая, и рубаха чуть не треснула по швам. – Мне даже надо, чтобы я какое-то время побыл в подполье. Время подполья – всегда самое драгоценное время для того, кто хочет победить. Разве нет? Вспомните историю, уважаемые. Ничто не делается нахрапом! Если тебе хочется повоевать, Слава, – ступай снова на Кавказ! Там еще долго, ой как долго будут стрелять.

Баскаков, зло провертев раза два-три колесико зажигалки, наконец добыл огонь и закурил, глубоко втягивая щеки, как чахоточный в приступе кашля. Хайдер закурил тоже. Опыт тиранов, опыт деспотов, да, важный опыт. Но ведь и тираны ошибались. Они – не безгрешны. Непогрешимых царей нет. Вождь – гораздо более мобильная фигура, чем застывший на троне тиран. Тиран боится потерять власть. Вождь, фюрер ничего не боится. Они все зовут его: *unser schwarze Fuhrer*, наш Черный Вождь. Черный Ярл. Так звали могучих скандинавских вождей. Ярл – Ярило – Солнце. Он еще взойдет, как солнце. Он еще засияет. И сожжет огнем тех, кому суждено сгореть. И обласкает отверженных. Людей своего народа. Своей расы. И – только своей.

– Чингисхан, – сказал он, выпуская дым, улыбаясь, из-за дыма следя, как нервничает Баскаков, как, не глядя, сыпает пепел под ноги, хотя на столе стояла пепельница. На старом школьном столе. – Чингисхан, вот кто знал хорошо, что к чему.

Они сидели в здании заброшенной, покинутой детьми и учителями школы, на втором этаже, в бывшем классе биологии – пособия с изображенным человеком, с которого содрана кожа, оплетенного кровеносными сосудами и синими жилами, со всеми потрохами наружу, еще висели, неснятые, на гвоздях у классной доски. Хайдер всегда быстро подбирал то, что плохо лежит. Он за копейки арендовал брошенное советское здание у администрации маленького подмосковного городка. Мэром городка была женщина. Она быстро подпала под могучее мужское обаяние Хайдера. «А что вы тут будете делать, позвольте спросить?..» – мэриша улыбнулась, подняв мордочку, как киска, и осторожно притронулась рукой к рукаву черной рубахи Хайдера. «Не позволю», – так же мило ответил он и взял мэришу за руку внаглую, открыто, привлек к себе. Вопросов дама больше не задавала. В кабинете они были одни.

Назавтра пустующая школа оказалась в их распоряжении. Деньги за аренду Хайдер перевел милой даме сразу за весь год.

– Если мне надо – и пойду, и постреляю, – зло кинул Баскаков, дымя, как Сивка-бурка, выпуская дым из ноздрей. – Мы все прекрасно знаем, Фюрер, какие деньги стоят за этой войной.

– И чьи деньги, самое главное, – уточнил Хайдер. Обернулся к Александру. – Ну что, Деготь? Наш Рим продолжается? Сколько сегодня завербовано нашими верными легионерами?

– Без счета, Ингвар. Без счета! – Деготь радостно блеснул кругляшами черных очков, ткнул пальцем в переносицу. – Даже боюсь тебе всех перечислять... ряды растут! В Ульяновске очень много скинхедов... в Тольятти... там, в Тольятти, они беспощадно бьют рэпперов...

– Ну, это молодежные разборки, – Хайдер поморщился, поглядел в черное ночное окно. – Это ерунда. Рэпперы бьют скинов, скины рэпперов, их вместе бьют гопники, потом приваливают на мотоциклах байкеры и бьют всех, кого ни попадя. Молодежные войны были и будут всегда. Пацаны бьют друг друга только за то, что у тебя не такие штаны, как у меня, и ты любишь поганого гея Эминема, а не патриотический «Коловрат» и не «Реванш», черт побери. Я не о пристрастиях. Это все оспа. Это грипп. Это с ними пройдет. Важно, чтобы НАШЕ – не

прошло. Мне нужна организация скинхедов. И хорошая организация. Правильная. Кто будет ею заниматься? И каковы прогнозы по стране, Деготь?

– Прогнозы великолепные, – Саша осклабился. На пухлых щеках вспрыгнули ямочки, как у девушки. – Все делаем без истерики. Молодые наши ребята, тем, кому по двадцать и больше, ну, так скажем, от двадцати до тридцати, берут руководство в свои руки. Приветствуют любое проявление жестокости, но не необузданное и стихийное, а целенаправленное. Народ, в общей своей массе, должен понять: есть сила. Есть сила, которая, если она выступит организованно, в одночасье может перевернуть всю создавшуюся на сегодняшний день здесь и сейчас картину мира. И те, кто не является арийцами, призадумаются.

– Они просто убегут из страны! – истерически крикнул Баскаков сквозь густой табачный фимиам, и длинный шрам у него вдоль щеки дернулся.

– Если бы! Это было бы слишком простое решение вопроса. Если бы они после двух-трех мощных выступлений скинов на вокзалах, на рынках, в метро, в кинотеатрах, в местах скопления людей что-нибудь, наконец, поняли – и стали бы собирать чемоданы, я бы, знаете, ребята, возблагодарил Господа. И борьба тогда была бы уже не нужна. Наша борьба, которую мы ведем. Они именно не убегут! И я не имею в виду люмпенов. Ну, всех простых черножопых и торговых чурок. Я имею в виду высокопоставленных черных. Тех черных, которые держат руль. Которые – у власти. Они плевать хотели на нашу силу, ибо они тоже обладают силой. И в столкновении этих двух сил и заключен секрет нашей нынешней войны. Так-то, Баскаков.

В окна класса биологии черными, широко распахнутыми глазами глядела зимняя ночь. Человек с содранной кожей, перенесенный на огромный плакат из анатомического атласа, глядел на троих, сидевших вокруг стола, красным страшным кричащим лицом.

– Ну хорошо. – Баскаков кинул окурок на пол, раздавил сапогом. – И как ты думаешь, как имя той силы, которой обладают они?

– Ты знаешь.

– Что ты мне, как Христос: ты сказал!

– Деньги, конечно. Деньги, Баскаков. Большие деньги. Огромные деньги. У нас с тобой таких денег пока нет.

Черным платком упало тяжелое, длинное молчание. Молчали все трое. Деготь то и дело указательным пальцем поправлял очки, сползавшие с потного носа. Трое думали. Три головы – не одна. Все великие дела всегда делала небольшая горстка людей, весело подумал Хайдер. Ингвар Хайдер – Игорь Хатов. Он нарочно переделал имя на скандинавский, на кельтский, на германский лад, чтобы не только чувствовать себя тевтонцем и воином, но чтобы передать подчиненным ту силу, которой обладал сам. Деньги? Чепуха. Деньги приходят, деньги гибнут, взрываются, горят. Люди, у которых в руках большие деньги, на самом деле ими не обладают. Ибо деньги – та материя, что постоянно в призрачном движении. Если у него вдруг окажутся в руках такие деньги, на которые он смог бы купить всю Россию, он не колеблясь сделает это. Но он купит Россию не для себя. Он купит Россию – ей же самой – в подарок. Но только ей! А не Израилю! Не Африке! Не мусульманскому полумесяцу!

«Врешь ты все себе, Хайдер. Себе ты купишь Россию. Себе. Себе-то хоть не ври, мужик. Им – можешь головы дурить сколько угодно. Власть нужна тебе и только тебе».

Перо скрипело. Перо медленно, упорно выводило текст.

«Россия прежде всего. Россия над всем. Разве мы – не избранная нация, призванная осуществить то, что осуществить может только она – и более никто другой в мире? Россия – вершина. Пусть половина нации ест, пьет и спит в грязи – это не вина народа. Это вина тех, кто над ним. Ах, Федор Михайлович, как Вы были правы, когда Вы писали и говорили: русский народ – народ-богоносец! А что представители этого народа били своих детей, убивали своих поэтов, расстреливали своих крестьян – так это все болезни нации. БОЛЕЗНИ НАЦИИ.

Почему нация не может болеть, как человек? Почему народ не может болеть, как человек? Но ведь от болезней вылечиваются. Вылечиваются, слава Богу!

Западная цивилизация – опасная цивилизация. Это сифилис, черная оспа и новый СПИД, что несет человечеству вымирание, если Запад возьмет верх над Востоком. Но и Восток не весь безопасен. Внутри Востока есть гнойные раны и воспаленные язвы. Быть может, Азию, все азийское полушарие, против Запада и поведет Россия, Русский Бог. С Россией – с нами – Бог.

С нами – Бог, слышишь ли ты это, мир!

И у нас есть Вождь. Как давно у нас не было Вождя! Наш Вождь сочетает в себе силу древнего героя и ум современного политического мыслителя, отвагу юного бойца и холодную мудрость опытного мужа. Наш Вождь – истинный ариец, представитель ариев, какими они были, когда проходили долгий, многовековой мучительный и торжественный путь от гаваней Гипербореи до предгорий Инда, от подножий священных Гималаев – до безбрежных степей и равнин Борисфена и Танаиса. Арии, наши предки, шли из Индии через великий Аркаим сюда, на Запад. Улыбка Азии озаряла Запад. Земли ложились к ногам ариев, к ногам белой расы. Это были наши с вами предки, россияне! И то, что мы с вами забыли это – наш грех, наша беда, наш нынешний ужас.

Предстоит новый ужас. Ужас борьбы. Ужас войны. Я это вижу и чувствую, иначе я не был бы философом. Быть русским философом в наши времена, уважаемые, – это все равно что добровольно класть голову на плаху. Мне еще нужна моя голова. Но я прекрасно вижу плаху, вижу палача, и вижу, что моя голова дана мне для того, чтобы думать, глаза, чтобы видеть, а рот, чтобы говорить. И я говорю: скоро придет Час России. Все, что было с Россией в минувшем, двадцатом веке, – это было не с Россией. Это было с некоей другой страной, насильственно возникшей на ее месте. Но ростки истинной России проросли. И наконец они сплотились, восстали в молодую горячую поросль. Наши молодые ждут и ищут. Наши молодые негодуют, сопротивляются, восстают. Что ж, так должно быть. Не бойтесь жестокости. Без жестокости, без ярости мы не сделаем того, что надо сделать: вернуть не только Россию – русским, но и русских – России.

Вперед, юные! С нами – Бог!

С вами – Бог!»

Человек оторвал ручку от бумаги. Витиеватый, манерно-старинный почерк убористо заполнил большой лист, занимавший полстола. Слишком просто для философской статьи? Слишком сложно для боевого обращения, воззвания? Человек прищурился. Ничего, и так проглотят. Неважно, как сказано. Важно – что. И кем. И – вовремя ли.

Он закрыл глаза, и перед его закрытыми глазами появилось лицо Вождя. Широкие скулы, короткая военная стрижка, победительная улыбка. Римский воин. Сулла. Нерон. Нет, дикий гунн. Атилла. Чингисхан. Да, и неуловимая, странная раскосинка в нем есть. О какой чистоте крови он говорит, если по всем русским в свое время прошлась монгольская гребенка? Та железная гребенка, которой расчесывали гривы и хвосты степных коней... Вождь был бы изумительным всадником. Ему бы так пошло скакать на лошади. Умный. Холодный. Без истерики. Насмешливый. Жесткий. Надменный. Веселый. А на самом дне глаз, на самом неуследимом дне, – чисто русское, страшное безумие, в одночасье сметающее весь холодный рациональный расчет.

Да, скоро, скоро наступят интересные времена. Россия – не только страна безумств. Россия – страна, наигравшаяся досыта игрушкой под названием «СВОБОДА». Ей теперь нужна другая цацка. Под названием «ПОРЯДОК». Если в России не будет порядка – она сойдет с рельсов гораздо скорее, чем это можно предполагать.

Человек, щурясь на свет старинной зеленой лампы, медленно сложил листок бумаги вдвое, потом вчетверо, потом подумал и сложил еще. Медленно затолкал в карман пиджака. Завтра он отдаст статью Вождю. И завтра же поедет в Серпухов. С заданием.

А теперь – спать.

Человек поднялся из-за стола, глянул на барометр, украшенный деревянной оленьей головой с ветвистыми рогами. Старый дедовский барометр показывал «БУРЮ». Да, верно, будет буря. Будет, будет.

Он повернулся и вышел из кабинета, плотно притворив дверь.

Человека звали Денис Васильевич Васильчиков.

С Ростом Баскаковым, с Сашкой Дегтем и с Хайдером они шли в одной упряжке.

... ..

– Выпей капли, Ада. И не трясись. Прекрати трястись, я тебе говорю! Ну! – Он дрожащими руками накапал, вернее, не глядя, налил в рюмку валокормид, разбавил водой из графина, протянул красивой пожилой женщине с корзиной седых, когда-то роскошных кос вокруг головы. – Ефим не из тех, кто дает себя в обиду. Ефим защитится, в случае чего. Я, я готов его защитить, я сам, говорят же тебе!

Седая женщина с горделивым, царским лицом мучительно, преодолевая слезные спазмы в горле, глотала капли. Подняла глаза на мужа. Жалобно посмотрела.

– Жорочка, еще... Дай мне ударную дозу...

– Вон еще! Выдумала! Ударную дозу ей! Все трудишься ударно, да?! Вечная стахановка, и тут тебе удары подавай! Хватит! Сейчас подействует! Лекарственный шок, между прочим, может наступить и от передозировки такой вот ерунды! – Он раздраженно кивнул на пузырек валокормида. – Остынь! Я тебе обещаю... я клянусь тебе – ничего плохого не случится!

Он только что явился с работы. Он устал. Чем он занимался на работе? Перекачкой денег? Переделкой мира? Он до сих пор помнит тот день, когда в России обвалился доллар. Это он, он сам приложил руку к этому обвалу. И ничего, все безнаказанно проехало. Он не загремел в каталажку. Он не опростоволосился перед финансовым миром планеты. Концы были надежно спрятаны в воду. А Россия сама – о, это такая текучая вода... Все тонет в ней, тонет безвозвратно...

«Гаснут во времени, тонут в пространстве мысли, события, мечты, корабли...» – ни к селу ни к городу вспомнилась ему строчка из стихотворения давно умершего поэта. Сегодня утром, еще до звонка Ефима, стоя перед зеркалом в ванной и бреясь, он поглядел на свою голую, оплывшую, волосатую грудь и заметил, что странно, пугающе почернели нательный крест и цепочка. Почему, к чему бы это, – подумал он, – ан все и прояснилось: когда он ехал в банк в машине, раздался «Свадебный марш» Мендельсона, он выдернул сотовый из кармана – и услышал в трубке спокойный, слишком спокойный голос сына. «Батюшка, дело плохо. Меня шантажируют по большому счету. Подослали какого-то урода. Черт знает кого. Платить им деньги или нет? Как скажешь. Или ты мне приставишь хороших бодигардов? Парочку, троечку? Как Президенту? Подумай. Перезвоню». Отбой. Он даже не стал дожидаться ответа. Наглец.

«Я ж уношу в свое странствие странствий лучшее из наваждений земли...» Черт, привязались стишки. Лучшее из наваждений земли! Уж не Адочка ли была для него когда-то лучшим из наваждений земли? Быть может, но это время давно прошло. Они были вместе уже черт знает сколько лет. Она привыкла к роли царственной супруги мощного магната. Он, владелец самолетной компании, владелец фондов, банков, трестов, соучредитель знаменитого на всю страну алюминиевого концерна «Стар», он, купивший популярный издательский дом «Предприниматель», «Свежую газету», издательства «Гермес» и «Аполлон», он, которому подчиня-

лось свыше трехсот отделений двух его главных акционерных компаний, он, скупивший десять типографий и несколько крупных издательств в Западной Европе и в Америке; он, владеющий пакетом акций ОРТ и издательским комплексом в Швейцарии, – что он считал теперь, сейчас лучшим из наваждений земли? Что бы он взял с собою отсюда – в Последнюю Дорогу?

– Адочка, – сказал он внезапно потеплевшим голосом и вынул у нее из холодных узких пальцев рюмку, – Адочка, ну не убивайся ты так... Ничего же не случилось. Ровным счетом ничего. Мы просто с тобой давненько не катались на нашей яхточке. На нашей славной, чудесной, замечательной яхточке. На «Тезее». Вот выберем время... недельку... и отдохнем. А Фимка за это время сошьет себе бронезилет. У лучшего портного закажет! В лучшем салоне! У Гуччи... Ну не плачь же ты, я сейчас сам заплачу!

Слезы – было самое надежное, что могла придумать женщина. Она это и придумала. Ариадна Филипповна, жена магната Елагина, урожденная Андреева-Дельмас, надменная седая красавица в свои уже Бог знает сколько лет, и судя по тонким точеным, породистым чертам лица – потомственная дворянка, горько плакала, откинувшись на спинку кресла, утирая слезы кружевным платочком, вынутым из кармана шелкового домашнего халата. Дубина Ефим! И матери успел позвонить. Ну неужели не догадался промолчать! Через неделю-другую сын с отцом все это сами бы уладили. Он, Георгий Елагин, вычислил бы шантажиста, нанял бы хорошего, опытного киллера, и – делу конец. А кто стрелял – молодец.

– Цирк, – всхлипывая, выстонала Ариадна Филипповна. – Ты представь, урод какой-то. Господи, ужас, ужас. Ты обратил внимание, – она высморкалась в голландские кружева, – что сейчас на улицах вообще все меньше красивых людей? Что их почти нет?

– Ты у меня самая красивая. – Он наклонился и поцеловал ее в серебряный пробор. – Лучше тебя нет. Ты мое... – Он помолчал. – Лучшее из наваждений земли.

Когда он выпрямился, на его губах играла тонкая, неуволимо-издевательская усмешка.

... ..

Цок-цок. Стучат каблучки. Цок-цок.

Модельные туфли от Армани. Цвета брусники. Цвета крови.

Цок-цок. Женская палата. Вот она.

Открыть дверь. Войти. Быстро нашарить глазами ее койку. Койку новенькой. Ту, которую привезли сегодня утром.

Сумасшедшая девочка-грузинка. Лия Цхакая. Привезли прямехонько из Тбилиси. Зачем сюда? В Москву? Будто бы в Грузии спецбольниц нет? И потом, отношения между нашими загадочными странами... Она оборвала мысли. Всмотрелась в лицо девушки, неподвижно лежавшей на койке поверх застеленного одеяла. Девушка уже была переодета в больничный халат, продранный и штопанный на локтях. На ногах у нее не было ни чулок, ни носков. Ступни посинели от холода. Да, холодновато в палатах, раздула она ноздри. Ничего, холод способствует работе мысли.

Сумасшедшая? Она усмехнулась. Полчаса назад она прочитала всю историю болезни плюс секретный код. Тот, кто привез сюда Цхакая, передал ей на словах: опасная экстремистка, связана с движением «Neue Rechte», с опальным публицистом Дегтем, апологетом движения. Девка к тому же поэт. Поэты, сами понимаете, люди непростые. Властители дум! «Песни на тексты этой козявки, – кивнул посланник возмущенно на бездвижное худенькое тело на кровати, – по всей стране уже поют! А тексты, я вам скажу, доктор, неслабенькие! К истории подшиты... ознакомьтесь... может, вы и сами уже где-нибудь слышали...»

Она остановилась около ее койки. Красивенькое личико. Густые ресницы, синие от недосыпания веки прикрывают огромные, должно быть, глаза. Про такие говорят: глаза по плоске. Коса, густая, черная, развилась, пряди вились по подушке, разметались по простыне. «Косу

повыдерут и товарки, и санитары», – отчего-то сладко-садистски подумалось ей. Она наклонилась, всмотрелась в спящую. На бледном личике были заметны маленькие, тонкие, будто сделанные перочинным ножом, шрамы. Царевна в шрамах. Изрезали нарочно? Пытали? Или это обрядовая инициация? Или просто стекло разбилось, зеркало упало и изранило ее, бедняжку?..

Спит? Без сознания? Для перелета и насильственной транспортировки запросто могли накачать чем-то успокаивающим... снотворным. Сытина наклонилась ниже и легонько похлопала девушку по щеке.

Глаза открылись. И впрямь огромные, дегтярно-черные, без дна. Две угольные топки.

– Где... я?..

– В больнице.

– Меня... вылечат?..

– Вылечат.

Ангелина усмехнулась. Вылечат, как же, держи карман шире. Вырваться из спецбольницы – все равно что родиться во второй раз. Она рассмотрела: шрамы свежие, вспухшие, недавно зажили вторичным натяжением. «Порезы бритвой», – наконец догадалась она. Лиля подняла к лицу руку. Потрогала шрамы пальцами. Болезненно, страдальчески поморщилась.

– Зеркало... Дайте зеркало!..

Сытина, улыбнувшись, вынула из кармана халата круглое зеркальце. Протянула девушке. С усмешкой глядела, как девчонка белеет от ужаса, плачет, трогая, поглаживая шрамы.

– Боже!.. Боже!.. Боже!.. Гмерто!..

– Ну как? – Голос Сытиной стал внезапно ледяным и острым, как хирургический скальпель. – Будем называть явки экстремистов в Грузии и в Москве? Или в ягненочка будем играть и дальше?

Ужас в глазах девочки дал ей понять, что пуля попала в цель. Чеканя слоги, Ангелина выговорила тихо, наклонясь над больной совсем низко, будто делала искусственное дыхание «рот в рот»:

– Учти, если покусишься на самоубийство, тебя спасут, здесь вытаскивают с того света не таких, как ты, но зато будут убивать медленно, но верно. Способов мы знаем много.

Она выпрямилась. Повернулась. Пошла прочь из палаты.

Цок-цок. Цок-цок, каблучки. Интересно, что такое «гмерто»?

А Косов называет кавказцев – «чурками».

Эта девочка – не чурка. Эта девочка – принцесса.

Принцесса-экстремистка? Быстро же у нее отросли косы в тюрьме.

Завтра же она прикажет ее обрить.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ К ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

«Лиля Цхакая, ученица грузинского философа Мамардашвили, сама – философ, философский факультет Тбилисского государственного университета. Дипломная работа – „Антропология мифа“. В Тбилиси знакомится с Александром Дегтем. Становится ультраправой по взглядам и убеждениям. В издательстве „Арктида“ в Москве издает тоненькую книжку, брошюрку под названием „Волк. Ночь. Лилит“ – о крушении исторических эпох и о неизбежном приходе – через Насилие – новой Силы, способной управлять людьми. Незаурядный поэт. Пишет и распространяет стихи: рукописи, публикации, Интернет. На ее тексты байкеры Хирурга сочиняют и поют песни. Рок-группа Таракана „Реванш“ поет популярные песни на стихи Цхакая – „Наши идут“, „Возмездие“, „Кельтский крест“. В Тбилиси у Цхакая пожилая мать. Цхакая взяли в Тбилиси прямо с подпольного, организованного спонсорами – сторонниками движения „Neue Rechte“ рок-концерта, где группа „Волки ночи“ исполняла песни с ее текстами. Скинхеды повсеместно поют ее песни. В свое время брила голову, как это делают

все скинхеды. В тюрьме в Тбилиси провела в общей сложности девять месяцев. Направлена в Московскую психиатрическую спецбольницу по распоряжению МВД России и Правительства Грузии».

Когда Архипа снова вели на ЭШТ, он наткнулся взглядом в коридоре на бритую девушку, которую два дюжих санитара вели по коридору навстречу ему. Нет, не из двадцатой комнаты. Из двадцатой – везут на каталке. И сгружают на койку, как мешок с камнями. Девушка шла своими ногами, испуганно, будто зверек, взглядывая вверх, исподлобья. Архип вздрогнул от черного удара ее глаз. Господи, какие огромные глаза! Нечеловеческие. У людей таких не бывает. Как... как у Спаса с хоругви, с образа в церкви...

Лысая голова девушки. Бритая его голова. Они оба, переглянувшись, усмехнулись.

Они по глазам – не по головам – поняли, увидели друг друга: «Мы одной крови, ты и я».

Лия остановилась около двери в женский туалет. Просительно посмотрела на санитаров. Те ухмыльнулись. Она скользнула в дверь туалета.

Его подтолкнул в спину санитар Андрюха: иди, иди, изголодался, небось, по хорошей порции тока!

Боль. Красная боль.

Он никогда не думал, что боль – красного цвета.

Нет, он так думал всегда.

Что это плывет там? Огромное, круглое, красное?

Это его боль плывет. Она наплывает и заслоняет ночь. Она заполняет собой мир.

Боль встает нимбом над его головой. И он смеется над собой, хохочет во все горло: смотрите-ка, а я и вправду святой, но я же никакой не святой, я преступник, я же убил, я убил! Я убил железной цепью человека! Я бил его, убивал его – уже мертвого! И я убил не только его одного! А скольких?! Я не помню!

Но я же убивал во имя! Я убивал во имя добра! Во имя справедливости! Во имя порядка!

Зачем вы казните меня-а-а-а?!

Красная боль.

Красная Луна в окне.

ПРОВАЛ

Ночь. Та вода, что была утром и днем – чистой, прозрачной, сапфировой, изумрудно-голубой, нынче, во мраке, – сине-черная, непроглядная.

У его ног плещет Байкал.

Байкал у ног, и они – юные. Он кичится тем, что он – круглый сирота. Кто как сюда попал, сбился в стаю. Кого родители кинули в детдом. У кого – их вообще не было: так себя и помнили всю крохотную жизнешку под забором. Кто из дому сбежал, из хорошего, теплого дома: воспротивился уюту, укладу, ханжеству, скуке, приключений захотелось, жизни взрослой, большой. Из Красноярска они добрались сюда, на озеро-море. «Славное море, свя-а-ашенный Байка-а-ал!..» – голосили они, напившись пива под завязку, на берегу, у перевернутых смоленых рыбацких лодок. Луна в небе стояла с чуть красноватым оттенком, как апельсин, как новогодний мандарин. В Сибири не редкость красная Луна, особенно – осенью. Сентябрь, стоял сентябрь, и кедры гудели над Байкалом глухо, как гудит басом в храме наряженный в парчу митрополит: «Миром Господу помо-о-олился!..» После пива они все, бритые, курили травку. Все тут были – и Зубр, и Ефа, и Оська Фарада по прозвищу Композитор, и крутой наци-скин, Черный Ворон, Алекс Люкс, позже он станет правой рукой Хайдера; и Сокол, друг Хирурга, здесь был; были и сибиряки, красноярцы и новосибирцы – Зуммер, Автоген, Крестьянин, Артем; и Уродец тут тоже был, среди них, великий Чек, ну как же без Чека, Чек – душа компании, ну и рожа у него, посмотришь – обхохочешься. И тот, отличный парень, классный

мужик, тоже с ними тогда был – парень по кличке У-2, и слухи ходили, что именно он, У-2, и возглавляет Азиатское Движение – ультраправое движение Восточной Сибири, Монголии, Северного Китая и Японии. Шептали друг другу на ухо: за У-2 стоят большие бабки, ты с ним осторожней! Не рассерди его! Никто никого тогда не собирался сердить. Осень скатывалась золотой монетой на дно Байкала. Осень плыла в толще прозрачной черно-синей воды нежной рыбкой-голомянкой. Они все – по кругу – курили травку, это же был не наркотик, что распространяли черные пауки на рынках, не гашиш, не героин, это была всего-навсего родная травка, конопля, и ее стоило такую ночью покурить. Все становилось прозрачным. Они словно плыли в ледяной воде Байкала. Они тогда обрились впервые. Они пьянели от травки, от обретенной силы, от учений Эволы и Гитлера, от «Mein Kampf», от близости новой войны, что сметет все на своем пути. И их тоже? Ну, их-то уж не сметет, ведь они сами эту войну родят. А что лучше, родить войну или детей?.. «Роди детей, Бес, роди трех сыновей и воспитай их воинами! Героями! И пусть они победят! Пусть победят они, если ты падешь в бою!» В карбасе, на берегу, сидела в ватнике светлокосая девчонка, копошилась в россыпях рыбы на дне карбаса, вынимала, выбирала омуля, размахнувшись, бросала его в ведро, стоявшее на берегу – везти в Иркутск, на продажу, на рынок. Серебряная, шевелящаяся, подскакивающая на дне карбаса рыба была вся – от застывшей в небе огромной Луны – розовой, алой. «Красная рыба, – шепнул он тогда, смеясь. – Хотите на спор, я эту девку заволоку в кусты, и она сегодня ночью будет моей? Без драки, без угроз, а просто я ей понравлюсь?»

«Не сомневаюсь, Бес, что ты ей понравишься. Ты ей уже понравился, – Зубр затянулся, передал косячок Уродцу. – Гляди, она уже подмигивает тебе. Спешу, скин. Миг наслаждения короток. Когда мы захватим недружественные страны и в том числе Польшу, я тебе обещаю, что у тебя будут две рабыни-полячки. И ты сможешь их насиловать, когда захочешь, и даже хлестать плетью. Послушнее будут».

Они еще раз случайно столкнулись в коридоре. И опять – около туалета. Аммиачный запах бил в ноздри. Она улыбнулась ему губами. Глаза не улыбнулись.

Они перекинулись только двумя словами: «Ты где?..» – «А ты?..» Она показала ему на пальцах номер палаты: два пальца, пять пальцев. Двадцать пять. Вечером он, крадучись, прошел по затемненному коридору в двадцать пятую палату. Когда он вошел, он сразу увидел ее обриту голову на подушке. Она лежала и ела апельсин. О чудо, апельсин! Он сел к ней на кровать. Больная рядом с ней странно вздергивалась, вскрикивала, иногда заливалась смехом, умолкала.

– Не обращай внимания. Она несчастная. Она уже по-настоящему сошла с ума. Ее закололи. Меня тоже заколют. Они колют мне уколы, ты знаешь... – Она протянула ему недоеденный апельсин. – Ешь. Мне принесли... Ешь, не стесняйся...

Он осторожно взял апельсин. Отправил в рот. Жевал, глядел на нее. Она произнесла тихо, медленно, будто пропела:

– Свастика, наш святой крест. Свастика, норд, зюйд, вест. Свастика, вечный ост – на Восток – до звезд.

Он вздрогнул. Схватил ее за испачканную соком апельсина руку. Ого, какая крепкая рука, подумал он, даром что маленькая.

– Наша песня!.. – Он задохнулся. – Я так и знал, что ты...

– Тише, – она прижала палец к губам. Улыбнулась. – Я написала слова.

– Так ты... – Он таращился на нее во все глаза. – Так ты – Лия? Ты Цхакая?

– Ну да, глупый. Жри апельсины! – Она сунула руку под матрац. Вытащила еще один апельсин. – Деготь и Хирург прислали. Они узнали, что я здесь. Вот прислали. Думаю так, что они подкупили персонал. Потому что передачу мне передали. Обычно здесь, если тебе с воли присылают передачу, ее не передают. Мне сделали исключение. Деготь наверняка засу-

нул бабки какой-нибудь дежурной медсестре. И главврачу. Слушай, а эта красивая бабеч, ну, главврач, ну, эта стервоза, она любит деньги?.. А?.. Может, нас с тобой... выкупят?..

– Мы что, вожди?.. Мы ж обыкновенные пешки... Ну, ты – другое дело... Ты – не пешка... Ты – гений...

– К чертям твои комплименты, – сказала она уже весело и приблизила рот к его уху. – А знаешь, что еще было в пакете?.. Книги... ну да, настоящие книги!.. наши книги... Эвола – на итальянском... Я по-итальянски читаю, они знают... Поэтому и не выкинули... эти... И – еще – тетради... И ручка... И я могу писать... Понимаешь, писать!..

Ангелина любит деньги. Любит деньги? Это надо обдумать. Он не думал об этом. Он просто ждал, когда она придет к нему ночью. Он спал с ней, забывая себя и весь мир. Лия ела апельсин, очищенный им. Причмокивала. Открывала уже замусоленную, грязную тетрадь, шепотом читала ему стихи. Дергала его за руку: нет, ты послушай, послушай!

– Я волею судьбы
И днесь провижу это:
Не люди, а гробы.
Не люди, а скелеты.

Я жить – я жить хочу!
Пить волю, власть и силу!
И Смерть мне по плечу —
От люльки до могилы.

– Еще, – глухо обронил он. Музыка слов заворачивала. Лия вскинула бритую голову. Далеко отсюда, за окном, прошел поезд. Перестук долго не кончался: товарный, с множеством вагонов.

– Тебе не кажется, что мы не в Москве? – шепотом спросила она. – Черт знает где мы! Слушай!

Ради нашего торжества
Я убью эту тварь и нечисть.
Я убью эту дрянь и нежить
Ради нашего торжества.

Это время – гляди! – пришло.
Коловрат по небу катится.
Подстрели меня, первую птицу,
Что вам спела: время – пришло.

Как тебе?.. – Она задохнулась, снова полезла под матрац. – О, мать твою, не апельсин!.. а мандарин... Деготь перепутал апельсин с мандарином... Купил все апельсины, и один – мандарин...

Она кинула ему маленький мандарин, будто мяч. Он поймал его и тихо спросил ее:

– Тебя водили на ЭШТ?

– Нет. Что это?

– Дерьмо это. Ты не сможешь после этого писать стихи.

– Смогу. Я всегда смогу их писать. И в гробу даже. Слушай еще, это я сегодня написала.

Эти башни рушатся, рушатся.

Эти лица, полные ужаса.
Этот дьявольский самолет,
Словно в масло – нож, войдет —
И – насквозь пробьет серый камень,
Этот каменный хрен небоскреб,
И положат меня – руками —
В нерукотворный гроб.

Что молчишь?.. Дрянь, что ли?.. А?.. Ну скажи, ты...

Он знал ее имя. Она его имени не знала. Не знала и клички. И не стремилась узнать.

– Да нет, не дрянь... Кайф...

Он покрылся холодным потом. Он вспомнил Ангелину. Сегодня ночью Ангелина была у него. Они занимались любовью на полу палаты, подстелив под себя лишь тонкую рваную простыню. Потом, поднявшись с полу, одергивая халат, застегивая подвязки – она колготки не носила, только старорежимные чулки, – она сказала ему, раздвигая губы в плохой улыбке: «Я знаю, ты пялишься на эту свою скинхедку. Попробуй только залезть к ней под пижаму». Я не хочу никого, кроме тебя, дрожа, ответил он.

... ..

Чашечки настоящего мейссенского фарфора на изящно накрытом для легкого ужина ореховом столе поражали грациозностью и хрупкостью. Их опасно было взять в руки. Коньяк в забавной приземистой, квадратной бутылочке был не просто выдержанный – коллекционный. Такая бутылочка стоила... ох, Бог знает, сколько она стоила, да и это ли сейчас было выяснять у хозяйки? Хозяйка блистала. Цэцэг блистала всегда. Но нынче она блистала особенно. На смуглой шее сверкало, вспыхивая звездами, ожерелье в одну нить из мелких африканских алмазов из копей Берега Слоновой Кости. Такие же брильянты ослепительно сияли в маленьких смугло-розовых ушках – в пандан так же алмазно сверкающим узким глазам. «У тебя не глаза, а черные брильянты», – говорил ей Ефим. О, Елагин умел делать комплименты. Пустячок, а приятно. Парижское, прямо из салона Андрэ с Елисейских Полей, тонкое – в кольцо продевалось свободно – платье с серебряной блестящей нитью туго обтягивало фигуру, подчеркивая все, что можно подчеркнуть. Под тонкой материей вызывающе выпирали чечевицами соски. Сквозь полупрозрачную серебристую ткань был виден пупок на впалом животе. Круглый зад соблазнял. Черные длинные волосы Цэцэг забрала частью в пучок, частью – распустила по плечам, вплетя в пряди мелкие розовые жемчужины. Домашние туфельки за две тысячи долларов, расшитые маленькими, как пылинки, брильянтиками, от того же Андрэ, ступали по коврам мягко, вкрадчиво. Кошечка Цэцэг, кусаешься ли ты? О нет, я только ласкаюсь. Ласкаюсь и мурлычу.

Цэцэг взяла маленький молочник со свежими сливками, и легкий рукав платья упал, соскользнул к плечу. Гостья напротив выставила вперед ладонь: о нет, мне со сливками не надо, мне – с лимоном! У гостьи весело сияли глаза. Они обе, хозяйка и гостья, отражались в большом зеркале гостиной. Искоса взглядывали на свои отраженья. О, они обе были обворожительны. Таких баб было в Москве поискать. Почему они не актрисы? Почему не снимут фильм с ними в главной роли? О, все еще впереди, и фильмы тоже. Александра Воннегут, ее подруга, прилетела из Парижа, где она жила постоянно, в Москву на недельку – на вернисаж, где господин Церетели представлял в своем музее скульптурный цикл ее загадочного друга, Гавриила Судейкина: «Дети – жертвы пороков взрослых».

– Нет, нет, дорогая, мне – никакого молока... Ненавижу... – Александра взяла пальцами из блюдечка кружок лимона, бросила в чай. – Кислое – люблю! И горькое! И соленое! Я по вкусу, наверное, грузинка...

От грузинки в Александре не было ничего, ну ни капли. Крупные завитки волос, такая кудрявая светлая, плотная золотая каска на голове. Кольца волос спускались на шею, озорно вились вдоль щек. Ярко-зеленые, озерные глаза светились изнутри, флуоресцировали. Широкие брови вразлет – дама, судя по всему, никогда их не выщипывала, следуя известному классическому завету японки Сэй-Сенагон: «Самое печальное зрелище в мире – это когда женщина перед зеркалом по волосочку выщипывает себе брови», – губы без помады, скулы слегка подтонированы коричневыми румянами. Большие красивые руки, скульптурная шея, скульптурно-выпуклая, вызывающе поднятая грудь. Вот с кого Судейкину надо было бы лепить богиню. Голливудские красотки, сдохните. Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, сдохните сразу, на месте. Русская баба Александра Воннегут вас обскачет на всех поворотах. Интересно, участвовала ли когда-нибудь Alexandrine в этих модных конкурсах красоты? Да нет, к чему ей эта дешевая развлекаловка для молокососок. У Александры в Париже дела поважнее.

– Угораздило их, умников, Гаврилку и Церетели, а также мсье Петушкова, выставить этих уродов перед Новым годом... перед православным Рождеством!.. – Госпожа Воннегут положила себе на тарелку лобстера, облизнулась откровенно. – Ух, люблю лобстера, грешница. И ты, Цэцэгущка моя, так изумительно умеешь его готовить.

– Не говори, Александрина!.. – Цэцэг поднесла к глазам руку в жесте притворного отчаяния. – Что за странная мода на уродов! Нет, что ни говори, а я люблю красоту. И в искусстве. И в драгоценностях. И в шмотках. И в мужчинах.

– И в женщинах?

Вопрос прозвучал щебечуще, невинно. Цэцэг мило улыбнулась. Вспыхнула. Горничной сегодня не было – она услала ее, когда та искусно накрыла на стол. Она сама взяла откупоренную бутылку, разлила по бокалам коньяк.

– Или ты, подруга, предпочитаешь что-нибудь полегче?.. Мускат «Анже»?..

Александра чуть приподняла углы губ. Яркие, сочные губы. Хочется укусить. Выпить. Брызнет сок.

– Нет. Твой коньяк так хорошо пахнет. Как ты сама.

Спину Цэцэг под платьем обдала волна горячего, разом выступившего на теле пота. Ее бросило в жар, как бросает в сауне. Александра взяла в пальцы бокал с налитым на дно коньяком, баюкая бокал в ладони; поднесла к носу, понюхала. Встала, сделала шаг к Цэцэг. Ее улыбка обнимала монголку. Облетала вокруг Цэцэг, как бабочка.

– Выпьем за нас с тобой, подруга. Мы стоим того.

Цэцэг тоже встала. Она была стреляная воробьяха. Там, давно, в «Фудзи», она была девочкой не из робких. И все же у нее на миг захолонуло под ребрами. Александрина, она же с ума сошла! А впрочем, всяк по-своему с ума сходит. Нравится ей вот так с ума сходить. Почему бы не переспать с такой красоткой, как она, Цэцэг Мухраева? Многие бы желали, между прочим.

И Цэцэг сделала шаг навстречу Александре – в своем роскошном серебристом, обтягивающем все тело платье. И это она, Цэцэг, опередила эту прожженную стерву. Это она первая взяла ее рукой за подбородок.

– А ты не врешь, подруга, что была там, в «Галактике», когда «Галактика» горела?.. Ты точно там была?.. И выжила?.. Да, классно горела гостиница... Жаль, что не сгорела... Ты...

Цэцэг вернула Александре улыбку. Скользнула рукой ей на грудь. Сжала ей грудь под платьем. Внезапно наклонилась. Через мягкий шелк ухватила сосок губами, зубами. Воннегут застонала. Прижала к себе голову Цэцэг руками. Мелкие брильянтики на медово-желтой шее

заискрились. Цэцэг, продолжая целовать грудь Александры, медленно подняла руки и спустила с плеч подруги струящийся светло-малиновый атлас.

- Ну что ты... Разве это так нужно...
- Нужно... Конечно, нужно... Не бойся...
- Я не боюсь. Это ты боишься...
- Ты боишься... меня – или себя?..

Александра тоже нашла на спине у Цэцэг застёжку платья. Расстегнула. Легкое платье, как воздух, опавшая тело теплом, скользнуло к ногам. Цэцэг вышла из платья, как выходят из морской пены. Они теперь стояли друг против друга нагие, кончики их грудей соприкасались, губы слегка приоткрылись; глаза сияли, взгляды глубоко погружались друг в друга.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.